

СИБИРИАДА

ВАЛЕРИАН
ПРАВДУХИН

Годы,
тропы, ружье

Сибириада

Валериан Правдухин

Годы, тропы, ружье

«ВЕЧЕ»

1930

Правдухин В. П.

Годы, тропы, ружье / В. П. Правдухин — «ВЕЧЕ»,
1930 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8427-2

Валериан Павлович Правдухин родился 21 января 1892 года в станице Таналыкская Оренбургской губернии в семье псаломщика. Многие годы учительствовал и путешествовал по родному Оренбуржью и Западной Сибири. Его путевые заметки и легли в основу первой большой книги «Годы, тропы, ружье», увидевшей свет в 1930 году. В ней Валериан Правдухин знакомит читателя с природой самых разных уголков России и увлекательными охотничьими приключениями. Оренбургские степи, Урал, Сибирь, Алтай, Казахстан – где только не приходилось бывать писателю с ружьем и записной книжкой в руках!

ISBN 978-5-4444-8427-2

© Правдухин В. П., 1930
© ВЕЧЕ, 1930

Содержание

Неизлечимый недуг	6
Запахи детства	9
1. Таналык	9
2. Каленовский поселок	15
3. Стрепета	25
4. Чиктукпак	30
Моя юность	34
1. Село Михайловское	34
2. Хутор Шубинский	36
3. Белые куропатки	38
4. В снегах	43
5. Осенние высыпки	48
6. Последние годы	51
На дудаков	53
1	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Валериан Павлович Правдухин

Годы, тропы, ружье

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Неизлечимый недуг

Даже любителям охотничьей литературы имя В.П. Правдухина сегодня мало что говорит, а ведь этого автора, без сомнения, можно поставить в один ряд с лучшими русскими охотничьими писателями XX века! Если бы Валериан Павлович написал только одну книгу – ту, которую вы, уважаемый читатель, держите сейчас в руках, можно с уверенностью утверждать, что он занял свое, особое место в отечественной литературе.

Подробности биографии В. Правдухина мало известны. Сведения о нем отрывочны и скупы, хотя имя этого литератора в 30-е годы прошлого века было достаточно хорошо известно.

Валериан Правдухин родился в 1892 году. Поначалу его отец был псаломщиком, потом сдал экзамен и стал дьяконом. Детские годы писателя прошли в Оренбургской губернии. Валериан был младшим ребенком, в семье росло еще двое детей – Николай и Василий. Все члены семьи были охвачены охотничьей страстью, а значит, вся окружающая будущего писателя жизнь воспринималась совершенно по-особому, наполняла его сознание захватывающими звуками и дурманящими запахами, расцвечивала ежедневное бытие яркими красками охотничьих приключений.

Охота – страсть особая. Для настоящего охотника совсем неважно, отправляется он в тайгу, в горы или просто на ближайшее болото. Его ждет встреча с неведомым, а общение с природой обязательно принесет свои открытия, а подчас и необыкновенные встречи. Любая такая поездка превращается в путешествие, запоминающееся на долгие годы.

Позднее В. Правдухин писал: «Эту страсть, неизлечимый сладкий недуг моей жизни, принес в нашу семью отец из Верхотурских лесов, унаследовал ее от пермских промышленников, заразив ею всех своих сыновей, – меня, кажется, больше других». Охота с самого раннего детства занимала воображение мальчишки, а впоследствии стала частью жизни и неиссякаемым источником творчества писателя. Именно благодаря своему увлечению Валериан Правдухин нередко принимал решения, влиявшие на его судьбу. Вот как он сам пишет об этом в очерке «В Алазанской долине»: «Одержимый неумной страстью к охоте, я часто забывал, зачем я сюда, в Закавказье, послан. Мое звание инструктора сельского хозяйства мне было приятно единственно потому, что в борьбе с мышами-полевками я все время кружил по зеленой долине реки Алазань, где до сих пор сохранилось много фазанов». В очерке «В Саянах» автор признается: «Я впервые участник научной экспедиции, и мне немного совестно думать, что не помани меня таежная охота, я едва ли выбрался бы в такое трудное путешествие». Впоследствии охота и охотничьи экспедиции стали неотъемлемой частью его жизни.

Правдухин был дружен со многими советскими писателями и общественными деятелями своей эпохи. Сам он выступал как критик и теоретик советской литературы, при его участии в 1922 году начал выходить журнал «Сибирские огни», который в короткое время стал ярким и своеобразным явлением в российской периодике. По мнению современников, статьи Правдухина высоко ценились специалистами и читателями, были талантливы и ярки.

Долгие годы жизнь В. Правдухина была связана с именем яркой и талантливой писательницы Л. Сейфуллиной. Она стала не только женой Валериана, критиком и соавтором творчества Правдухина, но и верным его товарищем в охотничьих скитаниях и путешествиях. Кстати, драма «Виринея», которая шла в свое время на подмостках многих театров страны, а потом была и экранизирована, создана Л. Сейфуллиной совместно с Валерианом Павловичем. Сам он написал немало интересных рассказов и очерков, его перу принадлежит роман «Яик уходит в море», посвященный жизни казачества конца XIX века. Это произведение отличает яркий и колоритный язык, лирические описания природы, отличное знание

людских характеров, обычаев и нравов казачества. Да и могло ли быть иначе? Правдухин вырос среди оренбургских степей, прекрасно знал природу и людей этого края. К сожалению, этот неординарный роман, как и его автор, оказались надолго забытыми. Роковой 1939 год стер из жизни и памяти имена многих одаренных и талантливых людей. Среди них оказался и Правдухин...

В книге «Годы, тропы, ружье» Валериан Павлович с восторгом описывает свои ощущения, наполненные теплотой и любовью ко всему, что окружает автора. Когда читаешь эти откровенные, искрящиеся добрым юмором строки, то чувствуешь, что автор сам испытывает удовольствие, погружаясь в воспоминания. Воистину, читать талантливо написанную книгу об охоте все равно, что самому побывать на ней! Яркий, точный и эмоциональный язык Правдухина, а описания неброской красоты родной земли образны и полны поэтического лиризма: «Степь стала иной. Зелень выцвела, высохли озера, пожухли, побелели на солнце солончаки, по старым законам поднялась стеной дикая горчица – читар, помахивая лупоглазыми желтыми цветами. Вымахала в полчеловека полынь, закудрявились круглые перекасти-поле. Ковыли цветут до поздней осени, разбрасывая по степи седоватые пряди с зернами. И теперь, как солоноватое море, они мягко переливались белесыми волнами под солнцем, убегая к голубому подолу неба». Так мог написать настоящий литератор, человек, мастерски владеющий словом, очень чутко улавливающий его звучание, а главное – знающий и любящий то, о чем он пишет. Любители природы получают истинное наслаждение от этой книги, а поклонники охоты найдут на ее страницах немало ценного и нового для себя – Правдухин был настоящим охотником, а истинным мастерам нет нужды скрывать от окружающих свои секреты.

В эту книгу вошло несколько произведений автора, но особо хотелось бы остановиться на очерке «По Уралу на лодке». Это путешествие состоялось в августе 1929 года, компания из семи человек спускалась на двух лодках по реке Урал – по излюбленным с детства местам Правдухина. Поездка была очень интересной сама по себе и, прежде всего, составом участников экспедиции. Вместе с Валерианом Павловичем в путешествие отправились: его жена Л. Сейфуллина, старшие братья – Василий и Николай, старинные знакомые П. Бобрыкин и В. Калинин, а также писатель Алексей Толстой. Компания подобралась сплошь «больная неизлечимым недугом». По реке двигались неторопливо, останавливаясь на ночлег в приглянувшихся местах. Рыбачили и конечно же охотились. Любопытно, что практически все участники этой поездки оставили о ней литературные воспоминания, в которых каждый по-своему излагали события памятного путешествия. Очерк врача-психиатра Николая Правдухина – брата писателя – публиковался в газетах «Приуралье» (Уральск) и «Комсомольское племя» (Оренбург). Воспоминания другого брата, Василия, были напечатаны в журнале «Боец-охотник» Всеармейского охотничьего общества в 1934 году. Лидия Сейфуллина свои впечатления от поездки опубликовала в сборнике «Гибель», вышедшем в свет в 1930 году, а Алексей Толстой включил воспоминания об этом охотничьем путешествии в состав книги «Необычные приключения на волжском пароходе», изданной в 1931 году. Но как не отметить, что самые жизнеутраченные воспоминания, наполненные восхищением от окружающей природы, восторгом от процесса общения с ней, принадлежат перу Валериана Правдухина!

Довольно часто специалисты в области литературы делят ее на конкретные жанры и направления: детективная, мемуарная, романтическая, историческая, охотничья и прочая и прочая. Наверное, это так. И все же для читателя существуют только два вида литературы, независимо от жанра: плохая и хорошая. Настоящую книгу, прочитав, в сторону не откладывают, а возвращаются к ней снова и снова. Вот именно такой книгой и является сборник Валериана Правдухина «Годы, тропы, ружье». В свое время Глеб Максимилианович Кржижановский так писал о нем: «Знаете, какая чудесная книга попала мне с несколько странным названием: “Годы, тропы, ружье”, – я прямо не мог оторваться! Не часто встречаются

такие художественные искренние произведения». И Кржижановский не одинок – каждый, кому довелось прочесть эту книгу, отзывается о ней как об «истинном подарке судьбы».

Радостно, что «Годы, тропы, ружье» возвращается к читателю. Переиздание уникальной сегодня книги Валериана Правдухина является исполнением долга нашего поколения перед памятью этого неординарного и талантливого человека, писателя, охотника.

*Олег Малов,
заведующий редакцией «Охотничьи издания» Издательского дома «Московский Ком-
сомолец»*

Запахи детства

Памяти отца

1. Таналык

Старший мой брат убежден, что он помнит себя восьми месяцев, и очень сердится, видя недоверчивые улыбки. Я не посетую, если кто и усомнится в подлинности моих воспоминаний. Одно для меня бесспорно; охотой я начал жить с самых малых лет. С тех пор эта горячая волна страсти заполняет мое существо, непрерывно живо бьется во мне.

Прошлым летом мне довелось побывать в поселке, где прошло раннее мое детство. В первый же день я кинулся осматривать заветные уголки, места мальчишеских игр, памятные по различным – большим и малым – детским событиям. Какое странное волнение охватило меня, когда в старом, полуразвалившемся доме я нашел на стене засечки, отмечавшие мой рост. Много ли сохранилось во мне от того пятилетнего чумазого карапуза, каким я тогда был? Моя память уберегла о нем самые смутные воспоминания. И кажется, что все его горячие, по-детски страстные и бурные чувства уже навсегда утеряны мною. Так ли это? Нет! Что-то, несомненно, осталось во мне от той поры: узкий коридорчик с засечками вдруг ожил, стал снова своим, родным, уютным. Помню ночь. Синее небо, прильнувшее вплотную к небольшому окошечку. На крошечном столике мигает маленькая керосиновая лампочка. За дощатыми стенами радостное ржание наших лошадей – они для детей тоже члены семейства – Бурого и Карего. Приехали отец и братья из степи. Слышу: по ступеням скрипучей лесенки шагает огромный человек – мой отец. Его еще не видно, но уже остро запахло пылью, травой, солнцем. Вот он входит из сумрака в небольшой круг света, – передо мной его живое, улыбающееся лицо, пыльные, кудлатые, темные волосы.

– Валька, лови!..

На мои руки падают два мертвых стрепета. Дикие птицы! Меня до боли волнуют их светло-коричневые перья, чешуйчатые ноги, стройная шея, бледно-розовый носик. Дикие птицы! Пахнет от них степной волей, неведомой широкой жизнью. Я не испытал ее, но разве кровь моя не кричит о ее радостях? Все мое существо томит неумная тоска по степным просторам, по бродяжничеству, тоска, не покидающая меня и по сей день.

Эту страсть, неизлечимый сладкий недуг моей жизни, принес в нашу семью отец из Верхотурских лесов, унаследовал ее от пермских промышленников, заразив ею всех своих сыновей, – меня, кажется, больше других. Когда я родился, отец был псаломщиком и имел ружье. Но вскоре он, самоучка, сдал экзамен на дьякона, затем на священника и тем самым лишил себя права «проливать кровь» – охотничать. Но до последнего дня своей жизни он участвовал в наших скитаниях по степям и лесам.

Мои первые воспоминания об охоте относятся к тому времени, когда отец служил в станице Таналыцкой Орского уезда Оренбургской губернии. Мне было тогда меньше пяти лет.

Меня редко брали в поле, особенно когда ехали с ночевкой. Но я был необычайно упрям и настойчив. Братья и отец вынуждены были прибегать к самым разнообразным уловкам, чтобы освободиться от меня. Им никак не удавалось потихоньку улизнуть, хотя бы они выезжали самым ранним утром. С вечера я так настораживался, что вскакивал при малейшем шуме. Братья проделывали со мной злую шутку. Они привязывали позади тарантаса мою детскую тележку, я садился в нее, весь во власти надежд и сомнений. Когда мы цугом выезжали за ворота, они, отвязав мою тележку, бросали меня посреди дороги. Я падал на землю,

царапал ее, ломая ногти, рвал на себе волосы, валялся в пыли и ревел таким истошным голосом, что вокруг меня собиралась толпа сердобольных казачек. Мать уносила меня на руках в дом. Ничто не могло утешить меня в эти минуты. Я бил мать ногами, царапал ей лицо и руки и выл целыми часами, пока не засыпал, обессиленный вконец. Во мне вспыхивала ненависть ко всему окружающему, к отцу, братьям. Я мечтал о мести, самой беспощадной и непритворной. Однажды я убежал от матери и зарылся в сарае в стог сена. Я пробыл там целый день. Меня искали по всему селу, а когда вечером отец вернулся домой, он бросился с бреднем на речку. Я лежал под сеном и упивался мезьтвю. С неизъяснимым злобным наслаждением слушал озабоченные крики отца и горестные вздохи матери. Вылез из стога лишь тогда, когда услышал заявление отца, что, если Валька найдется, он всегда станет брать его в поле. Я принял это как капитуляцию и, сумрачный, но внутренне гордый, с расцарапанной рожей вылез из своего убежища. Мир был восстановлен, и с этих пор я стал равноправным участником всех поездок. Упорством и страстью я победил все препятствия.

Неизгладимо глубоко врезалась в мою память картина первой охоты на зайцев. Мы сидим с отцом на обрывистом берегу пересохшего старого русла реки, сплошь засыпанного белой и желтой галькой. Впереди за оврагом нескончаемой полосой зеленеют талы – невысокий луговой кустарник. Братья и Мишка-хохол ушли туда с собаками. Отец, взволнованный и молчаливый, уселся меж кустов редкого тальничка. Я не дышу, кровь громко стучит в висках, нервы напряжены до последней степени. Вокруг тишина, побеждающая солнце и утренние шумы полей. Она висит над нами тысячепудовой тяжестью. Но вот издали прорвался гогот-лай нашей пестрой собаки Летки, полугончего выродка. Я жадно пожираю глазами, слухом все окружающее. Отец смотрит перед собой, положив ружье со взведенными курками на колени. И вдруг я вижу, как из лесочка мимо нас трусит, подсакивая на длинных задних ногах, серый большой заяц.

– Заяц! Папа! Смотри! – заревел я от обурывшего меня радостного восторга.

– С ума сошел! Молчи! – цыкнул на меня отец. Я в испуге прижался к земле. Я затаился, как еж, увидавший перед собою пасть хищника. Мимо нас бежал второй заяц. Я молчал. Отец поднял ружье к плечу. Все остановилось во мне... Я ждал. Выстрела не последовало. Шум и крики по лесочку приближались. Я засмотрелся на зайца, усевшегося меж кустов, как вдруг неожиданно грохнул выстрел. Я до сих пор не могу равнодушно слышать ружейный говор, но едва ли теперешнее мое волнение может хотя бы в малейшей степени походить на пережитое в ту минуту... Мне кажется, что и сейчас еще я ощущаю этот пороховой, горьковато-удушливый запах от первого выстрела.

– Тащи скорее! – сказал мне отец горячим шепотом.

Я рванулся вперед к бьющемуся вблизи в смертельных судорогах серому, осенней окраски, зайцу.

После двух неудачных выстрелов, разгорячивших нас с отцом до последней степени, я увидал, как большой заяц, перевернувшись несколько раз через голову, растянулся на песке. Я бросился вперед и, споткнувшись о кочку, упал, больно ударившись коленом о гальку. На ссадины я не обратил внимания, – я боялся потерять из виду добычу. Я приволок зайца и ожидал увидеть на лице отца насмешливую улыбку, но он, не взглянув на меня, по-прежнему смотрел вперед взволнованно и напряженно. Ему было не до меня.

Убили мы в ту охоту, это я хорошо помню, трех зайцев. Четвертого принесли из леса братья, его затравили собаки. Дома я не давал никому рассказывать об охоте, перебивал всех, захлебываясь от восторга, чувствуя себя героем, приобщенным к охотничьему ордену.

Осенью отец уезжал с казаками далеко в степь охотиться на гусей. Братья в это время были уже в городе. Я не решался проситься на гусиную охоту, зная, что отец отправляется на целую неделю. Возвращался он обычно ночью. Как горько бывал я разобижен, если меня не будили встречать отца! Иногда я не спал целые ночи, ожидая его приезда. Я не хотел

выпускать из рук привезенных им тяжелых серых птиц, и если меня гнали в постель, то я спал в обнимку с ними, спрятав их к себе под одеяло. Мне теперь кажется, что я сам участвовал в этих охотах на степных гусиных озерах: так ясно помню все мельчайшие подробности рассказов отца. Я вижу и сейчас широкие холодные зори, когда гуси вереницами возвращались с полей на воды, где их сторожили охотники. Я знал, в какое место была ранена каждая птица, как она упала, как долго искали ее охотники в прибрежных камышах, знал, кто больше других убил на этот раз. Утром я побывал у всех компаньонов отца, разглядывал добычу. С каким восхищением взирал я на старика Семена Дуракова, лучшего, по словам отца, охотника в станице...

Чаще всего мы раскидывали свой стан возле Урала или Таналычки, степной речки, впадавшей в Урал рядом со станицей. Любимым нашим местом был «Горный бикет», каменный обрыв, высоко вздыбившийся над речонкой. Эти скалы в моих глазах рисуются таинственными и величавыми, хотя я бывал после того и в Закавказье, Саянах и на Алтае. И когда я подростком зачитывался Жюлем Верном, Фенимором Купером, то, конечно, и «Таинственный остров», и все места приключений «Последнего из могикан» представлялись мне похожими именно на «Горный бикет».

Ясное солнечное утро. Сидим с удочками на горячем песке у берега. И вдруг брат кричит:

– Смотрите, заяц, заяц!

По вершинам скал на той стороне Таналычки несется бешеным карьером заяц. За ним по воздуху гонится черный огромный беркут. Заяц метнулся к воде – на линию каменного обрыва. Беркут, поджав крылья, падает на него.

– Погиб!

И вдруг серый зверюга турманом валится со скалы прямо в воду. На секунды исчезает в волнах реки, выныривает и плывет на наш берег. Отец в это время осматривал переметы под скалой, плавая в лодке. Он легко нагнал зайца и, вытащив его за уши, привез на берег. В один голос было решено за отчаянный прыжок отпустить его на волю. Несем его подальше от стана, с глаз собак. Несколько секунд заяц сидит на земле неподвижно, легонько перебирая ушами, и потом стремглав бросается наутек. Но не вперед, а к нам под ноги и в кусты. Это был, по-видимому, умный и опытный зверок, выдавший многое в жизни. Криками радости проводили мы его, долго вспоминая этот случай.

Мы возвращались вечером домой с Таналычки. Над полями густели вечерние сумерки. В стороне у дороги блеснуло озерцо. Отец шепчет:

– Остановите лошадей. Выпь на берегу.

Выстрел. Дым, густо повисший над сырой травой. Я бегу с братом к озеру, а с берега на нас бросается грязное, серое чудище, лохматое, страшное, как черт. Отец, подтрунивая над нашим испугом, снимает с себя полукафтанье и, набросив его на птицу, заталкивает раненную в крыло выпь в передок тарантаса. Она пронзительно вопит и машет крыльями. Бьет носом сквозь одежду. Въезжаем во двор. Нас встречает сосед наш, простоватый Мишка. Отец кричит ему серьезным, деловым тоном:

– Михайло, гуся убили! Смотри, он под козлами, еще живой, не упусти!

Мишка вытаскивает притихшую в темноте, запятаявшую голову на длинной шее выпь. Гладит ее по спине, ласково прищептывая:

– Гусенька, гусенька...

И вдруг дикий рев и хохот. Выпь долбанула клювом Мишку по носу. С тех пор мы, ребята, не давали Михаилу прохода, всякий раз дразня его:

– Гусенька, гусенька...

Выпь прожила у нас все лето, ходила ежедневно на затон вместе с домашними утками, возвращалась во двор кормиться и ночевать. Женщины и дети ее боялись, как цепной собаки.

Она не выносила красного цвета, бросалась на казачек, если на них были красные юбки, фартук. Рвала в клочья брошенные ей пунцовые тряпки. Осенью она исчезла, не вернувшись как-то с затона. Никто не видел, куда она делась.

В Таналыке мы завели себе первую охотничью собаку. Трехнедельным щенком привез ее отец в день моих именин из города Орска. И мне кажется (вероятно, обманчиво), что я вижу этого черного курбастого, длинноухого малыша над блюдцем с молоком. Нарекли мы его Верным. Это был чистокровный гордон, суровый, талантливый пес. Мы так полюбили его, что едва не обкормили конфетами. Мишка-хохол часто просил его у нас на охоту, но Верный один не хотел идти с чужими в поле. Его водил старший мой брат. Верный скоро стал делать стойки, мастерски ловил молодых утят. Мишка, плохой стрелок, благодаря Верному возвращался с охоты обвешанный дичью, уверяя, что он набил ее из ружья. Никто, конечно, ему не верил, а брат выдавал его. Часто братья без ружья бегали с собакой на озера и приносили живых утят...

Как-то зимой отец повез меня и брата в соседнее село на елку. Дорогой разыгрался свирепый буран. Мы не знали, что за нами увязался Верный. Отец прикрыл нас, малышей, кошмой. Въезжаем во двор. Брат выскакивает из саней и спохватывается, что на нем нет шапки. Ищем в санях, и вдруг отец кричит:

– Да вот она, у Верного.

Собака, бежавшая сзади, нашла ее на дороге и, несмотря на вьюгу, несла ее, может быть, несколько километров в зубах. Нам это тогда показалось чуть ли не чудом.

Был еще такой случай. Тащились мы в гору летом на двух телегах. Задний возок, где правил раззява Михаил, поотстал. Взбираемся на взлобок горы и слышим позади далекий глухой лай Верного. В чем дело? Собака где-то за увалом, ее не видно. Бежим туда. Верный стоит над шубой, упавшей с задней телеги, и лает. Принести ее он не смог и взвыл от отчаяния. Нужно ли говорить, как мы любили его. Мировой судья давал отцу за него пятьдесят рублей – громадные деньги по отцовскому достатку и по тому времени, – отец шутя сказал, что он продаст собаку, – и как же мы заревели все!..

Когда мне исполнилось пять лет, отца перевели из Таналыка в село Петровское Оренбургского уезда. Прожили мы здесь недолго. Отец был уже дьяконом и ходил в рясе. Охотиться он не мог. Но иногда не выдерживал и стрелял, если с нами не было никого из чужих. Ружье было всегда с нами. Мы теперь ездили чаще на рыбалку. И обыкновенно под Ильинкину гору, казавшуюся мне тогда Эльбрусом. Под горой бежала веселая камышовая речонка, полная окуней и крупных щук. Как мне тогда хотелось взобраться на вершину горы! Но долго никто не хотел идти со мной, отец подзадоривал меня сходить одного, пугая дикими зверями. Наконец девятилетний брат Вася согласился пойти со мной. С нами побежал и Верный. Подъем был для нас, малышей, нелегким и отнял у нас часа два. Впервые я увидел мир с такой высоты, и он мне показался красивым, но страшным – слишком большим для маленького человека. Луга, озера, извивы рек, леса, два-три поселка, соседние горы – все это открылось мне, как на странице книги. Поля бежали вдаль нескончаемыми полосами. Помню, солнце уже уходило за холмы, – и мне вдруг стало больно от своей мизерности... Словно оторвали меня от родной пуповины и поставили один на один с миром. Выгнали из закутка и показали землю... Отец и братья выглядели как козявки, до них было так далеко. Какая же большая земля и как много на ней дорог, неведомых и таинственных! На вершине горы зияли каменные ущелья, высились обнаженные скалы... Верный рыскал меж камней без боязни. Я, напуганный рассказами, опасался змей и зверей. Мы стояли с братом на самой высокой точке горы, собираясь спускаться вниз, как вдруг услышали лай нашей собаки. Испуганно смотрим друг на друга. Кто там? Может, в самом деле медведь? Не бежать ли нам вниз? Но разве можно оставить на произвол судьбы нашего друга? Набрав полные руки камней, взволнованно и бесстрашно мы карабкаемся по уступам. Глядим: Верный в бешенстве кидается с

лаем, а перед ним, стоя на задних лапках, сурок, толстый, желтый зверок величиной с кошку, отчаянно вереща и взвизгивая, машет лапками, отбиваясь от собаки. Верный, увидав нас, с еще большим остервенением бросился на сурка, но тот не давался собаке, ловко огрызаясь на нее. Мы начали осыпать зверка камнями. Недолго продолжался неравный бой. Здесь я воочию увидел смерть живого существа и был потрясен ее неприкрытым безобразием.

При гибели птиц и даже зайцев я не ощущал ничего похожего. Этот толстый, неуклюжий байбак напомнил мне ребенка. Он визжал, свистел, стоя на задних лапах, как маленький человек, и жутко было видеть его мертвый оскал окровавленных зубов, чем-то напоминавших человека. Я не сказал брату о своих чувствах, – охотничий азарт скоро заглушил во мне эти ощущения. К стану мы подошли уже торжествуя и гордясь своим подвигом...

Вспоминаю ясно впечатления от первой стойки Верного на моих глазах. Ехали мы летом за клубникой к знакомому башкирину Довледьяру. Дорога шла живописной долиной меж гор. Из травы доносилось веселое бульканье перепелов. Верный, отбежавший в сторону, остановился возле желтого чилижника и, вытянувшись в струну, потянул прямой линией в кусты. Перед кустом замер на мертвой стойке. Я дрожал, сидя в тарантасе. Братья стали умолять отца взять ружье и подойти к собаке. Отец остановил лошадь, любясь картиной. Но выйти не захотел, отговариваясь тем, что шомполка не заряжена, да и стоит ли тратить заряды на такую мелкую дичь, как перепелка. Минуту спустя он крикнул Верному «пиль!», и из-под носа собаки с шумом вылетел тетерев, черный, блеснувший сизью на солнце, матерой самец. Он полетел к горам. Мы ахнули, следя за его ровным, прямым полетом. Я содрогался от внутренней тоски по улетавшей птице. Отец и сам теперь уже жалел, что он не подошел к Верному с ружьем.

В этот же день старший брат и Довледьяр, вернувшийся недавно с военной службы, ходили в лес за тетеревами. Вечером они принесли штук пять молодых тетеревов, убитых Довледьяром из-под стоек Верного. Брат с оживлением рассказывал нам без конца, как метко стрелял Довледьяр, как горячился он, сердясь на собаку, не хотевшую сходить со стойки над птицей. «Бери, хватай, черт!» – кричал он ей, а собака, опьяненная запахом дичи, не трогалась с места. Довледьяр подталкивал ее коленом, держа ружье наизготовку.

Из Петровского отец скоро должен был переехать в поселок Каленовский Уральской области. Собирались мы туда с неохотой, напуганные рассказами об уральских казаках, законченных кержаках-староверах, живущих в степной глухомани.

В дороге казахи на наши расспросы о Каленом называли его «Жяман Кала» – «плохой поселок».

Выехали мы из Петровского в начале марта. Ехать пришлось больше пятисот километров, и все на лошадях. Пахло весной. По полям лежал отяжелевший серо-седой снег, смотревший грузно и печально, как старик, больной водянкою. Деревья стряхивали с себя белое одеяние. Верный бежал с нами. Он не хотел ехать на возу и всякий раз немедленно выскакивал на волю. Не знаю, что с ним приключилось, то ли искушали его деревенские собаки, то ли заболел он от переутомления, но на одной из остановок он долго не мог подняться с лежки и пойти за санями. Отец попытался втащить его на возок. Он огрызнулся, зло осцерила зубы, но тут же покорно сжался и завыл тихо и горько, трясаясь мелким ознобом. Он не укусил отца, но видно было, что он сам испугался того, что с ним происходит. В глазах его блестела лихорадочная тоска. Его томило предчувствие своего конца и боязнь, что он может искушать своих близких. Из рта его показалась слюна. Это было необычайно.

– Не троньте его, кажется, он сбесился, – сказал отец с горестной заботой.

Собака тянулась за нами с полкилометра, останавливаясь в раздумье. Тогда мы ее поджидали. В поле она свернула с дороги и направилась в лес. Мы стали ее звать за собой, надрываясь от крика. Она повертывала к нам голову, угрюмо смотрела в нашу сторону, словно что-то припоминая, но затем снова трусила к лесу... Мелькнула в кустах последний раз, при-

остановилась на секунду, уже не глядя на нас, и скрылась навсегда. Жиблые, черные березы, талый снежок, бледное зимнее небо – все это навсегда осталось со мной от того момента. Больше часа стояли мы на этом памятном нам месте. Кричали хором: «Верный, Верный!» Все было напрасно. Я ревел, хватая отца за руки, когда он хотел ехать дальше. Плакал брат. Мать отвернулась в сторону и молчала.

– Ждать нечего, – сказал сурово отец. – Верный сбесился и побежал в лес искать целебную траву. Вылечится, он найдет нас по следу... В ближайшем селе мы заночуем.

Вечером я допоздна стоял у ворот, поглядывая на дорогу. Верный не появился. Не пришел он и утром. Пришлось ехать дальше. Долго все ехали молча, угрюмо поглядывая по сторонам. Наконец отец проговорил:

– Под снегом трудно ему сыскать траву. Если бы это было летом!

Мать припомнила теперь, как он жалобно и страшно выл перед отъездом из Петровского.

– Да, собака лучше людей чует несчастье, – сказал отец, громко сморкаясь в платок. Потом тряхнул головой, как бы отгоняя мух, и погнал лошадей...

2. Каленовский поселок

Судьба закинула меня в Уральский край семилетним мальчишкой. В Каленом мы прожили всего четыре года. Но этот отрезок моей жизни и до сих пор мне кажется самым большим, самым значительным. Воспоминания о Каленом наполняют меня до краев и теперь. Они, как живая вода подпочвенного родника, постоянно выплескивают на поверхность.

Ехали мы от Уральска до поселка по воде на санях. Был в тот год необычайный разлив. Луга и степи затопило на десятки километров. Утрами по поднебесью легким кавалерийским строем летела веселая казара, тяжеловатые гуси, шелковисто-белые лебеди с гоготаньем, напоминавшим игру пастуха на свирели. В оврагах бушевала мутная коловертъ. Будто сало в кипятке, плясали по воде обмякшие льдины, комья снегу. Как-то мы запоздали, и в темноте наша тяжелая кошева застряла в овраге. Отец с братом на легких санках с трудом, но все же выкарабкались на берег, а мы с матерью крепко засели в мокром снегу. Карий, добрая, рослая лошадь, рвался и дыбился в оглоблях, звонко, отчаянно ржал, но вывезти саней не мог. Отец разделся и, по пояс в снежной воде, подпряг Бурого в пару. Но кошеву засосало крепко, и она охала, стонала, но с места не стронулась... Шла ночь. Отец ускакал с братом в ближайший поселок. Жутко было сидеть в воде среди теми неведомых полей! Мать неслышно молилась. Карий отчаянно ржал, перебирая ногами от холода. Отец потом сетовал, что оставил его в овраге: лошадь стала после этого припадать на ноги. «Но как-то страшно было, – говорил отец, – вас бросить одних, да и некогда и трудно было распрягать в воде». Я испуганно озирался по сторонам, и не знаю, то ли мне примерещилось, то ли в самом деле пробежал волк, но только я ясно увидел, как по высокому берегу тихо идет, поглядывая на нас, черная собака.

– Мама, мама, смотри, Верный! – заревел я.

Мать успокаивала меня, прислушиваясь к шорохам ночи.

Кто же по такой распутице, ночью поедет спасать нас? Кому мы нужны? Я уже знал, как неповоротлив мужик на чужую беду и как он не любит сползать по ночам с теплой печи. Но мы были среди казаков. Отцу не дали выговорить и трех слов, – десяток верховых, выросших из земли, не дожидаясь отца, помчались «спасать людей», засевших в «жяман чункуре» – «злой яме». Прошло не больше часа, показавшегося мне томительной и страшной вечностью, как из густых сумерек донесся до нас свист, зычные крики и широкий человеческий гогот. С шутками, с хохотом, смехом, прямо в сапогах и холщовых шароварах, казаки моментально выволокли нашу кошеву из снежной трясины.

– Матушка, ставь четвертную своим крестным отцам!..

– Вишь, каки купели у нас в степи!..

– Жяман чункур недаром зовется, мотри – кака крутоярь...

– По воде на бударке¹ надо ехать, а вы вон каку страхолюду впрягли!

– Скачем таперь в Каленый: станишники угощение нам выставят – попа ихнего убе-регли.

– Что, музлан, не по нутру вода тебе? – хохотал раскатисто седой казак, таща меня на берег.

Но у меня уже пропал всякий страх, – подлинная человеческая теплота исходила от его колышущейся груди и орущей глотки, корявые руки с лаской крепко охватывали меня.

В поселке всю ночь длилась гульба: отец выставил спасителям две четверти водки. Сам он тоже не смог уснуть: впервые за сорок лет у него в эту ночь заныли остро зубы.

¹ Бударка – легкая лодка.

Навсегда остались в моей памяти серо-желтой глиной вымазанные ряды саманных изб с плоскими крышами, прямые широкие улицы, люди высокого роста с размашистым шагом, с резким, гортанным, но по-московски ласковым говором и веселой улыбкой язвительного добродушия. Женщины скромно-величавого стана, простой русской красоты, с волосниками или чаще шелковыми узорными платками на голове, молчаливой улыбкой провожавшие проезжих. Шустрые казачата, чуть не с пеленок скачущие на конях, увертливые, лихие волчата степных просторов. Уральский казак для меня особый тип не только по своему общественному и хозяйственному укладу, – он для меня первый живой человек жизни: с ним я рос, он учил меня видеть и любить природу, от него я заразился страстью к игре и борьбе, иронически-веселому отношению к невзгодам, у него я перенял первые навыки жизни.

В Каленый мы приехали в те дни, когда по Уралу от Каспия шла вобла. На другой же день, рано утром, я вместе с десятилетним братом отправился смотреть, как казаки ловят рыбу. Ловля происходила в устье маленькой речушки Ерика, впадающей в двух километрах от поселка в Урал. Вобла шла от моря большими партиями, сплошными косяками. Она массами набивалась во все затоны и заливы Урала. В устье Ерика кишела, как в кипящем котле. Рыбаки загородили Ерик со стороны Урала неводами и прямо с лодок сачками грузили воблу на воза, стоявшие большой очередью вдоль берега. Телеги, доверху нагруженные рыбой, непрерывной цепью ползли по дороге к поселку. Казаки, мокрые от воды и пота, уставшие от бешеной работы, были взбудораженно веселы. Дикое одушевление овладело ими от удачи. Гогот, зычный смех, крики наполняли воздух. После залова все по команде бросались на четвереньки, потрясая бородами над водою. Старый седой казак рычал:

– Бррыт, орнем!

– Орнем, брат! – дружным гулом отозвался берег. Раздавался дикий крик, прыгающий веселый хохот, звучными волнами разносившийся по реке. Языческий восторг! Подобных картин я никогда не видел в унылом крестьянском труде.

Здесь же меж казаков суетливо сновал черный как жук, со скуластым калмыцким лицом, весь заросший волосами, поджарый, худущий дьякон Хрулев. Если бы не длинные космы, его бы не отличить от казаков: он был без рясы, в белых шароварах. Узнав, что мы дети нового попа – так всегда зовут казаки священника, – он немедленно затащил нас в будару, дал нам в руки сачки, заставляя ловить воблу. Казаки дико ржали, видя наше неумение владеть этой простой снастью.

– Ах вы, музланы, язвай вас не убьет!

– Это тебе не взвар хлебать на поминках!

– Обучи, обучи их, пострели их в варку-то...² Хо-хо-хо!..

Но эти крики не казались нам обидными: казаки, видно было, не кичились, не чванились, а в самом деле хотели нас научить рыбачить. Это им казалось простым, как умение донести ложку до рта. Ни капли злобы не было в их брани. Дьякон нагрузил с помощью казачат доверху наш большой мешок, взвалил его на спину брату – я поддерживал его сзади – и приказал тащить в поселок. Сейчас мне это кажется чудом, но мы к вечеру все-таки приволокли домой эту рыбу, представлявшуюся нам тогда сказочным богатством.

Уральские казаки круглый год занимаются рыболовством. Это веками выработало из них настоящих детей природы. Они здоровы, как звери, как звери – веселы, добры, просто и радостно гостеприимны, гордо ревнивы к своему, но не жадны и не скаредны. Отец быстро сдружился с ними, так как всегда страстно любил рыбалку. Из уважения к их обычаям он даже бросил курить, увидя их исконную ненависть к «табашному зелью».

Охота тоже в чести у казаков. Вокруг поселка была масса дичи. Достаточно было с километр отойти по Ерику, чтобы настреляться вдосталь по уткам, куликам и куропаткам. В

² Варка – голова.

первый же год отец купил в Уральске за три с полтиной старую, тяжелую шомполку. Но сам отец уже совсем перестал стрелять в это время. А братья приезжали в поселок всего лишь на два летних месяца. Я долго пробавлялся луком и самострелами, гоняясь за воробьями и нахальными воронами. Позднее я завел себе рогатку, сделанную из круглой или треугольной толстой резины. Стрелять я из нее научился мастерски. Воробьи были моей обычной добычей. Перепадало от меня и воронам, массами жившим в поселке, несусветным воровкам куриных яиц из гнезд. Отец всячески поддерживал во мне охотничьи наклонности, живо интересуясь моими успехами в стрельбе даже из рогатки. Как-то мать привезла из Уральска эмалированный горшок и, вымыв его, повесила сушиться на колышек под солнцем. Мы стояли с отцом на дворе, и я пускал камешки из рогатки в воробьев.

— А вот в горшок тебе не попасть ни за что, — заметил с добродушным пренебрежением отец.

— Это мне-то! Хы! — презрительно отозвался я.

— А ну, попади! Спорю на двугривенный, из десяти камешков не попадешь половины.

Пари заключено. Я со смаком вклеил восемь галек в самую середину зеленого горшка: восемь белых звезд засияло на его боку. Мать ахнула и долго бранила нас; отец со смехом оправдывался:

— Кто же его знал, что ему так повезет. Обычно он и в корову не попадает.

В другой раз наше охотничье озорство кончилось более печально. Была у матери белая статная курица, красотой ее мать очень гордилась перед казачками. Курица копошилась в навозе на заднем дворе, а мы с отцом стояли шагах в пятидесяти от нее. Я, признаться, на этот раз опасался проиграть пари, но тут мне действительно «повезло». Камень попал прямо в голову курице. Она моментально свернулась. Мы струхнули и сами. Я пытался оживить ее нашим мальчишеским способом, дуя изо всех сил ей под хвост и пришептывая:

У курицы заживи —
У сороки заболи!

Увы, моя медицина на этот раз оказалась бессильной! Мать долго не могла забыть этой злой проделки, вспоминая свою любимицу.

С рогаткой я часто хаживал на охоту вдоль Ерика. Веснами там все берега бывали покрыты дичью. Помню, как-то мне удалось вплотную подобраться к кроншнепам. Задышавшись от волнения, я ловко вклеил одному галькой по боку. Он секунд пять бился крыльями по земле, но я не успел схватить его, и моя дичь улетела. Чаще всего я покушался на песочников. И раза два мне удалось убить крошечных куличков. Я приходил домой, как с настоящей дичью. Отец добродушно подтрунивал над моими успехами, обещая мне «лет через десять» настоящее ружье.

Но я не хотел ждать так долго, я исходил завистью к моим старшим братьям, когда они летом ходили с ружьем на охоту. Правда, теперь почти всегда я таскался с ними «за собаку», как смеялись надо мной, но это меня мало смущало. Убивали мы птиц довольно редко, но здесь была не только наша вина. Шомполка наша, вместо того чтобы стрелять, обычно давала осечку. Подползем, бывало, к стае спящих уток или дремлющих на песке куликов, приладим ружье на кочку, пенек и ждем, когда утки сплывутся вместе. Если они продолжают спать, свистнешь легонечко, — они заворочаются, поднимут настороженно головы и стягиваются в кучу. Брат прицеливается по «варкам», и — чик! — осечка. Подсыпаем порошу на полку. Тогда ружье предательски «двоит»: пыхнет пистон, зашипит порох во втулке, а через секунду уже грохнет выстрел. Старый казак, знаменитый сайгашник, Карп Маркович, имевший такую же коварную флинтку, когда у него так же двоило ружье, вел стволами за утками и, случалось, убивал по несколько штук на выстрел. Но у него был многолетний опыт.

То же самое происходило у нас на охоте по серым куропаткам. Особенно зимой, когда порох в ружье отсыревал. Куропатки жили в холода огромными стаями на гумнах поселка. На ночь они сбивались по закуткам, меж скирдами сена. Иногда, подобравшись вплотную к дремлющей стае, несколько раз «чикнешь» по ним, потом бежишь домой, перезарядишь ружье и снова возвращаешься на старое место. За все время, помню, нам удалось убить не больше десятка куропаток, хотя их там водилось тысячи, как в питомнике. Но зато сколько самой неподдельной радости бывало у нас, когда удавалось заповевать хотя бы одну куропатку! Помню такой случай. На Святках мы пошли вверх по Ерику с братом. Выбираемся по пухлому, глубокому снегу на яр. Глядим, на поле, пользуясь теплым днем, пасутся стада куропаток, бесчисленное количество милых серых комочков. Ползем к ним осторожно меж кустов... Начинается неизбежная прелюдия: осечки, шипение плохих пистонов. Наконец орудие наше рывкнуло. Один серый комочек перевернулся на снегу, но тотчас поднялся и, волоча перебитое крыло, побежал. Я уже так запыхался, что почти не мог его преследовать, снег был выше колен. Брат начал гонку. Не легко было поймать куропатку, бег ее необычайно проворен, и брат «чуть не лопнул» – как он сказал тогда, – прежде чем ему удалось схватить ее. В этот день нам повезло, и скоро брат подстрелил вторую курочку. Я, страшно уставший, тащился сзади. Слышу, брат кричит истошным голосом: «Сюда, скорей, скорей!» Ползу по снегу, проваливаясь, лезу вперед, как черепаха. Вижу: брат, сбросив с себя полушубок, странно кружит вокруг толстого вяза. Я понял, что это его «прогуливает» куропатка. Один он ни за что не поймал бы ее, вдвоем же мы кое-как схватили пташку и понеслись домой. Сколько радости-то! Пара серых куропаток! Это бывало не часто.

Охотились мы зимами очень редко, братья появлялись в поселке всего недели на две на Рождестве. Тогда же мы ездили несколько раз на санках за тетеревами, вылетающими в ближайшие к поселку леса с Бухарской стороны, где они водились летом. С подъезда тетерева подпускали на выстрел, но все же не ближе семидесяти шагов. Где же такое пространство преодолеть нашему ветхому оружию? И за все время мы привезли только раз серую тетерку, каким-то чудом сбитую братом с осокоря. Но такие выстрелы были поистине для нас всех мировым событием и запоминались на всю жизнь!

В одну из весен отец собрал охотничью компанию, и мы отправились вниз по Ерику на луговые разливы. С нами был поджарый, ловкий дьякон Хрулев, плотник Гурьян, поселковый начальник Бакалкин и его сынишка – Коська, страшный врун и бахвальщик. О своих охотах с отцом он рассказывал мне прямо чудеса:

– Пошли мы это летось с папаней на Бухарскую. Там на озерах уток – тыщи. Выбрались это, значит, мы к берегу по камышам. Уток черным-черно, но папанька ничего не видит. Я ему говорю: «Вот там, папаня, под берегом». Он, значит, прицеливается, я ему ружье поправляю. Бах, бах! – десяток. «Вот еще, говорю, папаня». Он опять: бах, бах! – еще пяток. Так за день больше полсотни наколотили. Ей-богу! Вот те хрест! Лопни мои глаза! Разрази меня заразой в самую утробу!..

Сколько птиц летало тогда веснами, трудно себе представить. Гуси то и дело серой гогочущей массой накрывали нашу лодку. Казара длинными косяками резала золотистый воздух, а утки все время то шлепались на воду рядом с лодкой, то с жирным кряканьем вырывались из камышей. Но что это были за охотники, наши компаньоны! Страсти в них было много. Они беспрестанно палили из ружей, но убивали редко. За день погиб от их выстрелов один лишь глупый чирок, да к вечеру на стан прибежал встрепанный, возбужденный дьякон Хрулев, уверяя, что он подранил на Курюковской старице гоголя. Он кричал, выходя из себя, звал остальных охотников добивать подранка. Все бросились к озеру. В сухом камыше нашли и в самом деле гоголя с перебитым крылом. Началась канонада. До двадцати выстрелов, не меньше, было сделано по утке, но она ныряла мастерски всякий раз, когда охотник тянул за спуск. Брань, крики густо висели над озером. Я стрелял в гоголя из рогатки и только

от горячности промахнулся, когда он, замучившись нырять, вылез в пяти шагах от меня на берег. Наконец гоголь был загнан в узкий заливчик, и Гурьян доконал его. Отец подтрунивал над охотничьей армией. Бакалкин вспылil и предложил ему самому стрелять на спор по цели.

– Что ж, ставь свои сапоги, – заявил отец, – могу стрельнуть на бутылку.

Сапоги были водружены высоко на кол. Отец сам тщательно зарядил ружье. Восемнадцать дробин сделали из длинных голенищ настоящее решето, вконец испортив сапоги.

Меня возмущала эта несерьезная охота; с тоской поглядывал я на пролетавшую мимо дичь. Но было весело, привольно среди неумных широких разливов бродяжничать нам с Коськой, лазить по ветвистым дуплистым вербам толщиной в несколько обхватов, отыскивать гнезда птиц, слушать кряканье встревоженных страстью селезней, дикий гогот гусей, звончатый переклик казары. Мне удалось однажды поймать серую утку, усевшуюся на яйца в дупле старой вербы. Отец долго не хотел верить, что утки строят гнезда в дуплах, но я убедил его, показав ему яйца. Утка по настоянию отца была отпущена на волю, о чем я горевал немало, так как думал ее принести с гнездом домой, чтобы она вывела утят.

Как сейчас, слышу несмолкаемый гомон птиц. Стонут чайки, посвистывают кроншнепы, крякают утки, тонко и жалобно ноют авдотки и пигалицы. Громче всех звенит и жалуеться в лесу пустельга, или, как мы называли ее, «пистольга». Ее серые с коричневыми крапинками яйца ворует нахальная ворона. Тогда же весной я услышал мелодичные крики лебедей и никогда уже не мог забыть эти глубокие и нежные звуки. Восемилетним парнишкой я узнал в Каленом чуть ли не всех птиц, перекочевывавших каждую весну с юга в Уральские степи и луговины. Мне до сих пор странно встречать взрослых людей, часто не знающих ни одной птицы. Я уже тогда счел бы для себя позором не отличить серой утки от кряковой или смешать чернеть с гоголем. По озерам вокруг Каленого нам попадались утки чуть ли не всех пород. Кряковые, чирки, шилохвость, свиязь, широконоска, пеганка, красная утка – все они гнездились в приуральских старицах. Голубые цапли, грязно-охристая выпь, страшно бунчающая по ночам, черные некрасивые хищные бакланы, красивые разноперые хохлатые пеганки, водяные курочки, коростели, ленивые жадные лысухи, нырки – всех их я научился отличать еще тогда по крику и по полету. Кулик-сорока, кроншнеп по-местному, «тюрник», шилоклювка, веретенник, бекас – все это милые друзья моего детства. Многих из них я не умел назвать по-книжному, но всех их повидал не раз на песках Урала. Только вальдшнепа, как это ни странно, я не встречал чуть ли не до двадцати лет. Как-то поздней осенью мой сверстник, казачонок Толька, поймал на задах своего двора долгоносика, но меня в это время не случилось дома, и я долго жалел, что мне не удалось повидать эту птицу, о которой с особым уважением рассказывал отец. Стрепета, дудаки-дрофы, луговые и степные тиркушки, по-местному «чиктукпак», кречетка, пигалица, ржанки – все они кочевали вокруг поселка и пролетали весной и осенью над ним. У нас, малышей, даже существовал особый спорт – умение с первого взгляда отличать птицу по полету, издали, и мы скоро научились различать хищника от рыболова, чайку от мартына, кулика от пигалицы, гусей от казары. Чаще всего можно смешать бакланов и гусей. Стайки их летают одинаковыми треугольниками и похоже машут крыльями. Однажды летом братья на Каленовской старице убили колпика, тут же мы все были поставлены в тупик: да что же это за диковинная птица с таким лопастым носом? Отец разрешил эту проблему и сумел назвать нам ее.

С детства я хорошо узнал зайца-русака и беляка, волка, сурка, суслика, крота, полевых мышей, изящного земляного тушканчика, из хвоста которого мы делали себе ручки для перьев (вставочки). Лиса, корсак, хомяк, ласка, хорек не раз встречались нам на охоте. В детстве я увидал в степях сайгака. А ворон, воробьев, грачей, галок, коршунов, сивоворонок, красивых щуров, или тюриков, гнездящихся по ярам, вонючих удонов («голландских петушков», как звали мы их тогда), сов, синиц, пустельгу, жаворонков, дроздов, не говоря

уже о голубях, мы считали домашними птицами. В степи я любил лежать в ковыле, наблюдая вольный лет на головокружительной высоте черных беркутов, высматривающих себе добычу. Как стремительно они падали оттуда на землю, сжав крылья; как завидовал я их умению парить в небе часами, не шевельнув крыльями!

Одно лето у нас росли два лебедя, пойманные нами в степи. Мы ехали на вечерней заре с бахчей. Я лежал на возу с арбузами, крепко прижав к груди серого зайчонка, пойманного нами в степи. Вдруг из степи налетел лебедь и, низко кружась, следуя за нами по дороге, начал жалобно «кронать» (его крик можно передать звуком «крон»). Мы бы не догадались, в чем тут дело, но нас нагнал верховой казак Зарубин и объяснил, что где-то в степи у лебедя гибнут дети. Мой старший брат и Зарубин отправились на поиски лебедят. Мать улетала и возвращалась, указывая им направление. Тогда я не считал странным этот сказочный разговор птицы и человека, но теперь он уже и мне представляется фантастическим и невероятным, выплывшим из далекого туманного прошлого. Через час Зарубин и брат вернулись и принесли трех птенцов, они рассказывали, что мать довела их вплотную до детей. По-видимому, степное озеро, где она их вывела весной, высохло, она их стала переправлять на другое, но у них не хватало для долгого пути сил, и они умирали от жажды. Всю дорогу мы отпаивали лебедей арбузным соком, мать проводила нас чуть ли не до поселка. Один из птенцов в ту же ночь подох, а двое оправались, выросли и все лето плавали на Ерике с домашней птицей. Разжирили они в неволе до уродства, были некрасивы, грязны, жадны. Осенью они однажды не вернулись с речки, – видимо, уплыли куда-нибудь по Ерику. Костя Бакалкин божился и клялся, что видел, как они снялись с воды и улетели вслед за лебединой стаей, тянувшей на юг. Но это была явная неправда: крылья у лебедей были подрезаны, да и без этого никто бы не поверил Косте, зная его болезненное фантазерство и бахвальство.

Рыбалку я всегда любил меньше охоты, но отец, искусный спортсмен-рыбак, вызывавший восхищение даже у казаков, заражал меня своей страстью и к рыбной ловле, особенно веснами и осенью, когда мне не с кем было охотиться. На редкость интересной, захватывающе волнующей была ловля сазанов.

С семи лет я уже таскался с отцом за карпами. С вечера отец обычно объявлял мне и моим сотоварищам:

– Ну, ребята, ройте червей. Плачу наличными за полсотни три копейки!

Мы тащили ему жирных дождевых червей. А чуть минет полночь, он уже поднимает меня с постели, и мы идем с ним, поглядывая на гаснущие звезды на небе, на Урал или в верховье Ерика, к Думбаю, чуть ли не столетнему, сгнившему скирду сена, где было наше любимое место рыбалки. Несем с собой приваду, мешок распаренной пшеницы. По воде пробегают первые зябкие пятна розовой зари; мы сидим настороженно под яром, над тихой котловиной, с удочками в руках. Тут уж нишкни! Тишина полная. Отец осторожно забрасывает приваду. Особенно памятно мне одно утро под Думбаем. Вода еще только что прояснилась после мутного половодья, и мы пришли этой весной впервые. Отец выписал зимой шелковые лесы от Биткова из Москвы. Расселись. Ширкнули, прошепотели еле слышно разбухшие зерна по воде. Отец со смаком поплевал на жирного червя, насаженного на стальной крючок. Я кинул свою лесу под крутой берег. И сразу же у меня вяло, но неослабно кто-то потянул за крючок. Подсекаю, дергая неумело вверх удилище. Отец цыкает на меня: «Тише ты!» Что-то грузное повисло на удочке. Не могу осилить и вытащить добычи. «Да тащи же ты, салак!» – шепчет отец, видя, что это не сазан. Сазан берет насаду по-особому, опытный рыбак сразу же отличит его осторожный клев и лихую повадку. Здесь же попался кто-то тяжелый и неподвижный. Не сом ли? Я пытаюсь вытащить удочку из воды, пачусь на яр, волоча удилище. Отец, не выдержав, приходит мне на помощь и выволакивает на землю огромную черепаху. Она упирается, подергивая змеевидной головой. Вот гадость! Пришлось обрезать леску и привязать новый крючок, а черепаху забросить в воду.

– Счастье твое воронье, подвезло тебе, – посмеивается отец.

И в это время его удилище внезапно согнулось горбылем. Он привстал и спокойно подсек сазана. Тот выплеснул толстой медно-красной спиной на поверхность, махнул двуперым хвостом, «обмахом», как говорят казаки, – леска взвизгнула и безвольно повисла над водою.

– Эх, перепилил, черт! – буркнул с досадой отец.

Так раз за разом три лески не выдержали страшной силы сазанов. Я стремглав понесся на стан за запасными удочками. Бегу обратно, – отец стоит на яру, взволнованный, вострепанный, раскрасневшийся.

– Последнюю порвал, – говорит он, задыхаясь от волнения.

Садимся опять. Через минуту отец удачно подсекает сазана, вскакивает на ноги и начинает его «мять», вода на лесе вдоль берега. Удилище гнется, леса звенит, как струна, сазан бешено вскидывается над водою, стремясь пересечь спинной своей пилой шелковый поводок. Но все слабее и слабее его взмахи, медлительнее рывки, короче скачки над водою. Отец осторожно поднимает на воздух его лобастую крутую голову. Сазан судорожно захлебывается, неслышно чмокая круглым ртом, и, осовелый, разом всплывает на поверхность, поводя оранжевыми плавниками. Тихо отец ведет его к берегу и мягко выбрасывает на яр.

– Ишь ты, бугай какой! – с восхищенным успокоением шепчет отец, поднимая тяжелого золотистого красавца на воздух.

Солнце уже поднялось над степью, заверещали мягко и страстно жаворонки, вода зарыбилась под ветерком. Наконец и у меня «повело». Легонько, но твердо подсекаю удочкой против хода рыбы. «Есть!» Леса застонала, молниеносно перебросилась в другую сторону, забунчав тонко по воде. Какая жуткая тяжесть и сила! В глазах у меня запрыгали оранжевые круги от испуга и волнения.

– Папа! Папа! Скорей, скорей! – в отчаянии зову я отца на помощь.

Отец не трогается с места и шипит:

– Держись крепче, не распускай слюней, чертов сын!

Упираюсь ногами в сучковатый пенек, тяну рыбу к отлогому берегу. Сазан буравит воду, бросается вглубь; я пыжусь вовсю, круто вскидываю удилище; сазан упрямится как бык, я тащу еще отчаяннее, и вдруг – тр-р-р! – сухой треск, удилище пополам. Я брякаюсь на землю. Половина удилища на воде, рывками, как взбешенный уж, обломок прыгает по взбаламученной поверхности и стремительно несется в сторону, скрывается в камыше. Обалдев, лежу с разинутым ртом.

– Эх ты, чертова перешница, рыбак, куда же ты его тянул, на небо, что ли? – смеется отец.

Идет быстро к лодке и настигает уставшего беглеца у коряги. С помощью сачка водворяет его в лодку.

– На, принимай свою добычу!

Рыбачить мне позволяли вволю. И летом я целыми днями пропадал на Урале. В легких тенях перелесков, на горячих песках, под крутыми ярами наша ребячья ватага кейфовала с раннего утра до сумерек. Полуголые, всегда босые, мы мокли в воде, ловя на мух или червячка «касынчиков» – мелкую рыбешку для насады. Крючки на них мы мастерили из тонких иголок, уворованных у матери. Калили их на огне и загибали. Наловив животку, забрасывали переметы – длинная бечева с рядом поводков и больших крючков-удочек. К вечеру вытягивали свои снасти всегда с богатым уловом. Чаще всего нам попадались огромные, до восьми кило, судаки. Щук, сомов, бель мы презирали, с бранью забрасывая их снова в воду или оставляя на песке на съедение воронам, коршунам и рыболовкам.

Казаки в то время ревниво охраняли Урал. В неурочное время нельзя было рыбачить даже удочкой. Для рыбалки переметами было отведено место на перевозе, – но кто же из нас шел туда? Мы презирали трусливых сверстников, ходивших ловить судаков к перевозу,

хотя и там рыбы было более чем достаточно. Нас, ребят, дома всегда журили, что мы носим так много рыбы: летом ее некуда было девать. Возвращаясь домой, мы развешивали судаков по деревьям в надежде, что ими воспользуются проезжие. Мы с радостью вручали рыбу первому встречному. А наутро опять мчались на Урал, чтоб снова и снова пережить рыбачьи треволнения, чувства браконьеров, ловко обманывающих начальство. Это придавало рыбалке оттенок таинственности и героизма. Нам доставляло острое наслаждение прятаться в лесу, по ярам от объездчиков и ревизоров, зарывать до вечера пойманную рыбу в песок. Мать после рассказывала:

– Часто тебя не бывало чуть ли не до полночи. Я начинала беспокоиться: не утонул ли? Выходила встречать тебя к мельнице на сырт. И вот жду, смотрю: наконец вижу, как по дороге, согнувшись в три погибели, топает маленькая фигурка, а за спиной у ней большим бугром топорщится мешок с рыбой. Диву даешься, как ты ее донес: иногда бывало больше пуда. Кормилец! – смеялась мать.

А у меня в самом деле было тогда это чувство деловитой гордости: кормлю семью!

За лето загорал я невероятно. На меня было страшно смотреть. Ноги мои делались заскорузлыми, как старая овчина, на них выступали кровавые щели – «цыпки». Как-то мать вынуждена была лечить мои ноги: смазала их каймаком³, глицерином и касторкой. Мне показалось, что меня режут, так начало сильно щипать. Я ревел, катаясь по полу. Дочь начальника и Коська примчались к нам на крик.

– А мы-то думали: мотри, Валька не удочку ли слотнул, помирает...

Наутро я, конечно, снова умчался на Урал, захватив кусок хлеба. Неужели же дождаться, когда взрослые станут пить чай? Коська, Пашка, Мишка, Ставка завладеют лучшими местами: что же я-то буду делать?

Но и во время рыбалки я грезил и жил охотой. Холоднокровная рыба волновала меня несравненно меньше; настоящую страсть пробуждали во мне дикие птицы и звери. Я без ружья выдумывал охоты на них. Летом я ловил их силками, петлями. Белых рыболовов мы «имали» на рыбку, как судаков. Привяжешь живчика на нитку, с другой стороны ее прикрепишь небольшой камешек. Птица, проглотив рыбку, унесется в небо с камешком, но через полчаса, умаявшись, упадет где-нибудь на песок. Отец преследовал нас за это варварское занятие. Частенько компанией ребят мы уходили в степи и там по целым дням гонялись за сусликами. Обычно мы их добывали петлями или выливали водой из глубоких нор. Сколько я их уничтожил тогда – не счесть! Однажды я принес домой совсем белого суслика. Отец назвал его «Альбинос». Он долго жил у меня под крыльцом, выкопав себе нору. Я снабжал его провиантом. С тех пор мне памятно это важное слово, хотя смысл его я узнал гораздо позднее.

Зимой мы частенько убегали в лес за зайцами. Их было много у самого поселка; летом нетрудно было поймать молодого зайчонка. Но моей заветной мечтой было промыслить зимнего белоснежного беляка или рыжего, матерого, русачину. Но как поймашь их по снегу? Мы забирали из поселка собак и лазили по брюхо в рыхлом снегу, подзадоривая криком своих «борзых». Как хороши были эти морозные дни среди сиявших от солнца снежных просторов, среди тихих деревьев, укутанных белою перевязью нежного инея! Но зайца нам не удавалось поймать очень долго. Мы начали отчаиваться. Я по ночам бредил зайцами. Каждый из нас старался найти новый путь к выполнению нашей мечты. Сманивали у проезжих по поселку их собак и шли в лес, с новой энергией ползая по сугробам. Не раз и не два я обмораживал себе уши, но это не останавливало меня в моих бродяжничествах. Отец только смеялся над моими ослиными «лопухами», но сам разжигал мои страсти насмешками. Мать

³ Охлажденные густые сливки, снятые с топленого молока.

терпеливо смазывала гусиным салом мои воспаленные уши. Каждое утро Коська Бакалкин влетал ко мне как ошпаренный и, сияя горящими глазами, упоенно врал:

– Валька, вчера я собаку видел: во собака! Целый верблюд, а не собака. Агромадная, ноги как у бизяновского иноходца, морда – во! – он выбрасывал руку на пол-аршина в сторону. – Не токма што зайца, волка догонит.

– Врешь, поди? Во сне видал?

– Ей-ей! Лопни мои глазыньки, не сойти мне с этого места, провалиться мне сквозь землю, отсохни моя рука, подохни мои папанька и маманька! – с вдохновенным легкомыслием клялся Коська.

На поверку оказывалось, что это какая-нибудь паршивая, захудалая дворняга, выгнанная хозяином со двора.

Наконец судьба улыбнулась нам. В поселок приехал вальщик Владимир. У него была рослая, поджарая белая собака Мальчик. Я сразу понял, что в ней наше счастье. Долго мы умоляли Владимира доверить нам собаку, но он оказался хитрым мужичонкой и требовал с нас платы. Мы перетаскали ему несколько гривенников, добытых – покаюсь – не всегда честными путями.

Но Владимир оказался ненасытным, – хотелось ему еще выпить на даровщинку, он требовал снова приношения даров, видя наш охотничий азарт. Коська и я с отчаянием молили его:

– Ну дай же нам собачку, ей-пра! Чего ей сделается? Ей-богу, потом еще притащим денег. Нет же у нас теперь. Вот старик Андрон Кабаев скоро помрет, нас покличут на поминки, там бесприменно дадут нам самое меньшее по двугривенному, – твои, ей-ей, твои! Притащим, как бог свят, притащим!

У казаков был обычай одаривать на похоронах ребят на помин души умершего.

– Да, жди его, когда он помрет! Може, он сто лет еще проживет, – сумрачно вздыхал Владимир.

Коська вопил:

– Помрет, я тебе говорю, помрет, ей-богу, того и гляди – помрет! Все бают. Ты сам глянь, чуть ногами шаркает. Лопни мои глаза, в гробу мне перевернуться тысячу раз, провалиться мне на этом месте!

И только после таких горячих заверений он нам доверил собаку. Сашка, Коська и Мишка пошли со мной в лес. Мальчика мы вели, как сейчас помню, на синем кушаке, чтобы он не сбежал от нас. Добираемся до лесу. Мальчик нас радует, рвется вперед, принюхиваясь к заячьим следам. Я волокусь за ним, падаю, но держу его крепко. Но вот он скакнул резко вперед, я лечу через голову, сзади исступленно орет Мишка:

– Пуцай, пуцай, заяц!

Я отпускаю собаку. Она кидается за зайцем, делая огромные прыжки. Заяц направляется в лес. Мальчик настигает его. Вслед им несется сумасшедший хор:

– Улю-лю! Бери его! Мальчик, Мальчик!

Собака уже около зайца, дожимает его; заяц круто повертывается обратно; Мальчик со всего маху ударяется о дерево и валится замертво на снег.

Задыхаясь от усталости и волнения, подбегаем к собаке. Раскинувшись, лежит она без движений. Начинаем испуганно ворошить ее... Слезы проступают у меня на глазах. Что теперь будет? Как я рассчитаюсь с Владимиром? Но вот Мальчик повел башкой, открыл глаза, растерянно, огляделся по сторонам и тут же ринулся по следу. Зайца он не нагнал, но снова пришел в себя и ласково завертел хвостом, когда я кинул ему хлеба.

Двигаемся дальше. Проходим луговиной, по сухим камышам. Из-под ног вырывается рыжий русачина. Снова улюлюканье, крики... Мальчик метнулся за зайцем и через каких-нибудь двести шагов настиг его. Теперь он не дал обмануть себя зайцу, и, когда тот сде-

лал петлю, он ловко пересек ему путь и ухватил его за спину. Пронзительно ревуший заяц, собака, мы сами – все это сплелось в клубок на снегу. Я потерял варежки, Мишка разбил себе нос, – но кто же обращает внимание на такие пустяки? Мы оставили без привязи собаку и бросились домой.

Владимир обрадовался не меньше нашего. Он гордо заявил, что Мальчику цена «сто рублей».

Мы поволокли зайца на продажу. После долгой ряды лавочник вручил нам пятак. Казаки не ели зайцев, считая их погаными. Цену имела только шкура. Но что нам деньги? Больше месяца мы каждый день рассказывали друг другу о своей необычайной удаче. Коська бахвалился нашим подвигом на всех перекрестках. С этих пор мы стали считать себя заправскими охотниками.

3 Охлажденные густые сливки, снятые с топленого молока.

3. Стрепета

Настоящий охотничий сезон начинался летом, с приездом на каникулы моих братьев. Целые дни проводили мы в лугах, бродя по берегам озер и затонов Урала. Любимым нашим местом была котловина Каленовской старицы. Там всегда клевали сазаны, по камышам выводились утки самых различных пород, на лужайках то и дело выпархивали из травы стайки серых куропаток. В камышовых зарослях на берегах жили волки, зайцы и лисы.

Помню, подъехали мы как-то рано утром к старице. Брат с ружьем начал пробираться к воде, надеясь пальнуть по уткам. И вдруг видим, как он, глянув в сторону, начал поспешно пятиться назад.

– В чем дело? – спрашивает отец.

– Волк, там в камышах волк, – испуганно шепчет побледневший охотник.

Отец выхватил у него ружье, кинулся в камыши, мы побежали за ним, но волка уже не оказалось, он успел улизнуть. Долго подтрунивали над храбрым стрелком, и брат только сумрачно отмалчивался.

В это же лето у нас произошла другая встреча с волками. Бегая, как обычно, босым по берегу старицы, я сильно поранил ногу, наступив на скошенную дудку сухого камыша. Рана была глубокая и сильно кровоточила. Я упал на землю и заревел истощенным голосом:

– Ой, мама, умираю! Совсем умираю, о-ох!

Матери не было с нами, но я продолжал звать ее на помощь. Братья с похоронной песней перенесли меня на стан. Я заревел еще сильнее. Отец, промыв рану, начал делать мне перевязку. Я продолжал стонать и плакать. В этот момент из леса вышел бородатый рябой казак и зычно крикнул:

– Батюшка, нору волчью нашли, копаем! Трех волчат уже пумали. Ребята, иди смотреть! Потешные!

Сам я не помню, что со мной было, но отец много раз после рассказывал: глаза мои сразу просохли, я вырвался из рук отца, сорвал начатую повязку и понесся вперед – вслед за братьями, стараясь их обогнать, умоляя подождать меня. Отец криками пытался меня остановить, – где там! Я даже не оглянулся.

У норы находились еще двое казаков. Один из них держал в руках связанных веревкою волчат, а другой лежал с ружьем у норы, ожидая выхода оттуда волчицы. Пришел и отец к норе. Я стал просить у казаков подарить мне волчонка. Казак с усмешкой тотчас же передал мне одного из них. Он был совсем небольшим щенком, но уже зло щерил свои острые зубы, рычал, стараясь укусить меня за руку. Я испугался и бросил его на землю. Он, потешно переваливаясь, засеменил к кустам. Его нагнали и снова посадили на привязь. Я хотел его взять домой, но отец не разрешил. Тогда я вспомнил о своей ране и заревел, повалившись на землю. Все захохотали надо мной, что меня расстроило еще больше. Я долго валялся у норы, но меня теперь не замечали. И после этого случая всякий раз, как только я начинал жаловаться на какие-нибудь боли, отец смеялся:

– Волчата, волчата, беги скорее, – все заживет!

На вторую зиму отец выписал с Ижевского завода за двенадцать рублей новое ружье-берданку. Получили мы ее ранней весной. Продолговатый деревянный ящик распаковывать пришла большая компания местных охотников: дьякон Хрулев, псаломщик Ефим, плотник Гурьян, важный Бакалкин и двое казаков. Вот и ружье. Хрулев держит его высоко над головою, оно блестит новою сталью, как солнце. Каким чудесным казалось оно нам, это примитивное оружие, с которым теперь настоящий охотник не захочет пойти на охоту. В поселке, кроме шомполок, не было других ружей. Несколько дней мы с отцом не выпускали его из рук, перебирали патроны, рассматривали барклай, мерку. Стреляли пистонами в зажженную

свечу, стараясь ее погасить. Спуск у ружья был чудовищно тугой, – это сильно огорчало отца. Он решил написать об этом на завод, но старый казак Карп Маркович объяснил отцу, что его очень просто ослабить. Казак знал об этом из опыта с винтовкой.

Не дожидаясь приезда братьев на лето, отец решил испытать ружье на настоящей охоте. Как только сошел снег с полей и подсохли дороги, мы поехали в степь за стрепетами. Отец ехал с псаломщиком Ефимом, а я был отряжен кучером на другую телегу, в помощники Хрулеву. Берданка была отдана в распоряжение Ефиму; дьякон ехал на охоту со своей шомполкой.

Ехали мы километров за двадцать, а то и больше, от поселка. Кругом – необозримые степи. Чем дальше в глубь степей, тем ковыли становились живописнее. Погода стояла чудесная: по-весеннему теплый, солнечный день ласкал нас, как мать своего ребенка. Зеленые полосы молодого ковыля коврами бежали к голубому небу. А рядом седые старые пряди его в задумчивой мудрости тихо шелестели под ветерком, склоняясь перед буйством весеннего расцвета степей. Жаворонки под солнцем, как расплавленные слитки золота, мягко вызванивали в небе страстные трели. Степные кречетки, по-местному «таргаки», большими стаями с шумом перелетали с места на место. Тиркушки-«чиктукпаки» шныряли в воздухе с легкостью ласточек и звонко чувикали под солнцем. Свистели красиво и протяжно по степным долам кроншнепы, жалобно стонали хохлатые пигалицы. По степным озерам, как пчелы в улье, гудели, кричали утки.

На первом озере мы с Ефимом поползли к ним. Из-за старого бурьяна легко подобрался вплотную к большой стае кряковых уток. Ефим уже стал целить, как вдруг его обуял хохот: селезни разодрались из-за утки, и матерой самец, как сердитый дед, трепал соперника за его блестящий хохол.

Отец долго пенял Ефиму за его смешливость, из-за которой он не успел выстрелить по стае.

Километрах в пятнадцати от поселка показались первые стрепета. Мы издали услышали токование самцов. Скоро со всех сторон понеслось мягкое и своеобразное мелодичное: тррыть, тррыть, тррыть!.. Петухи, переодевшись в брачный наряд, выбрав оголенный пригорок или желтую насыпь у норы суслика, распутив круглые свои крылья и хвост, распушив черное ожерелье на шее, пели несложную, но волнующую свадебную песню...

Началась охота. Тарантасы медленно поползли в разные стороны. Дьякон суетливо завожился со своей шомполкой, а я стал направлять лошадь к ближайшему стрепету. Он подпустил нас близко: шагов на тридцать пять. Прямо из тележки пустил в него Хрулев первый заряд. Но стрепет не улетел, он только перестал прыгать, посмотрел на нас удивленно и убежал с желтого пригорка в ковыль.

– Подбил, подбил, – заорал Хрулев и кинулся за птицей.

Но стрепет легко вспорхнул, часто-часто трепеща крыльями, так что почти не видно было их движений, и красивым веретеном понесся вдаль по голубеющему, прозрачному воздуху.

– Ей-богу, подбил! Ты видел, как из него перья посыпались?

Я не видел посыпавшихся перьев, но я сам так же горячо переживал первую неудачу и, конечно, подтвердил, что стрепет ранен.

Стрепетов по степи была масса. Искать их не приходилось. От одного мы направлялись к другому. Теперь Хрулев велел мне подъезжать к птице еще ближе. Стрепет подпустил нас шагов на двадцать, но тут же сбежал с точки и, пригнув аккуратную головку, потянулся по ковылю и так плотно залег в нем, что его совсем не стало видно. Долго стояли мы на одном месте, стараясь усмотреть его в траве. Дьякон выходил из себя: то и дело ему казалось, что он видит стрепета, он прицеливался, но потом решал, что это не птица. Наконец охотник не выдержал, выпрыгнул из тарантаса и двинулся вперед. Стрепет вырвался у него из-под ног и

с волнующим треском полетел вперед. Дьякон растерянно замахал руками, долго озабоченно смотрел ему вслед и, выбравшись, вернулся ко мне. Он раскраснелся, как после бани, курил папиросу за папиросой, ругался всюю.

Тащимся дальше. Из-под лошади вспархивает самка. Лошадь, вскинув головой, останавливается от неожиданности, а стрепет в тридцати шагах мягко опускается на землю и тотчас же скрывается в ковыле. Таращим глаза, – птица не показывается. Опять Хрулев спрыгивает с возка; стрепет вырывается позади охотника и несется вдаль, выбросив чуть не на голову дьякона жидкую белую струю. Опять ругань и плевки в сторону птицы. У самых копыт лошади находим пяток свежих ярко-зеленых, с желтыми крапинками яиц, величиною поменьше куриных. Хрулев забирает их на варево.

После пяти-шести промахов дьякон решает стрелять с приклада. Он шагает теперь позади тарантаса. Я останавливаю лошадь, охотник кладет ствол ружья на обод заднего колеса и после длительного прицела бахает по стрепету, удивленно взирающему на нас с бугорка. Птица подсакивает, летит несколько метров вперед и турманом валится на землю, теряя перья.

Первая добыча в руках. Я бросаю лошадь и несусь навстречу засиявшему от удачи Хрулеву. Какое красивое оперение у птицы! Белое брюшко, светло-коричневатая спинка, испещренная мелкими, как рисунки мороза, черными узорами, стройная шея с черным ожерельем и белым перехватом, три черных маховых пера на крыльях, зеленоватые ноги, бледно-розовый носик, и весь он, подобранный, дикий, стройный красавец, взволновал меня, как будто находка драгоценного камня, волшебного корня жизни.

В полдень мы приехали на стан, к степному колодцу, где нас с нетерпением ждали наши спутники. Они оказались удачливее нашего: семь стрепетов лежали у них под тарантасом. Дьякон вскипел:

– Еще бы, с таким роскошным ружьем, с Ижевского-то завода, и дурак набьет! А если моя мешалка только дичь портит, не держит на месте? Перья летят...

– И птицу за собой уносят, – смеется Ефим.

– То-то, я гляжу, по степи, – начал серьезно отец, – дичь вся перепорчена. И кто это, думаю, портит ее? А все же лучше было бы, отец дьякон, если бы ты нам с Ефимом молебен Николаю Чудотворцу заказал. Кто знает, может, и в самом деле чудо бы случилось, и ты бы убил. А этого-то что же, вам лошадь задавила?

Отец долго подтрунивал над Хрулевым, а Ефим в тон подхохатывал ему.

Два дня мы колесили по степи, гоняясь за стрепетами. Утром при выезде со стана зоркий Хрулев своими калмыцкими глазами приметил в ковыле дрофу-дудака. Ефим перешел на нашу подводку; отец остался позади. Дрофа, увидав нас вблизи, пригнула седоватую голову, быстро потянула по ковылю, мягко покачиваясь на ходу, и скрылась в густой траве, забежав за небольшой мар. Залегла. Полупудовая туша сразу исчезла из глаз, точно провалилась. Мы долго кружили возле этого места, – птицы как будто и не было. Всех нас трясла лихорадка: черт возьми, ведь вот же она здесь, до мара не больше двадцати пяти шагов. Наконец я разглядел в траве рыжую спину птицы, еле заметно возвышавшуюся над землей меж прядями седого ковыля. Дергаю Ефима за рукав, указываю ему глазами. Ефим вскидывает ружье к плечу. Увидел и он.

– Стой! С ума спятил? Это же камень! Не стреляй! – дергает Ефима за руку Хрулев.

– Не мешай, черт тебя возьми! – вышел из себя добродушный охотник, пытаясь снова прицелиться в дудака.

– Постой! Вместе! Где, где?

И дьякон опять хватается Ефима за рукав.

Дудаку наскучило слушать горячую перебранку на таком близком расстоянии, – он вскочил на ноги и, неуклюже подпрыгнув раза три, взмахнул громадными крыльями – и

полетел. Ефим выстрелил не целясь – и, конечно, мимо. Птица тяжело замахала и скрылась из глаз в мареве степи.

Подскакал отец:

– В чем дело?

Сдержанный обычно Ефим, как курун, кидается на Хрулева с кулаками:

– Ты что ж, зарраза те убей, что ты сделал? Я б его на месте пришил! Ах, язвай те в душу-то, серая рожа, охотник слепошарый!

Дьякон пытается защищаться, но мы дружно набрасываемся на него. Он угрюмо замолкает, жадно раскуривая две папиросы зараз. Через полчаса тяжелое настроение разряжается. Начинаем со смехом вспоминать неудачу. Хрулев отходит и хохочет сам над собой:

– Глаза заволкло, как в горячке!

Едем вместе. Здесь я мог наблюдать за стрельбой наших компаньонов. Ефим стрелял удачнее дьякона и обычно на два выстрела убивал одного стрепета. Но влет и он не умел стрелять, и отец сплевывал от досады, когда птица без выстрела улетала из-под ног охотника.

Убили мы с дьяконом за эту охоту всего шесть стрепетов; наши счастливые соперники – больше двух десятков.

В сумерках у колодца увидели молодого сайгака. Хрулев загорячился, зарядил шомполку крупной дробью, выпряг лошадь и решил нагнать верхом быстрого зверя. Но едва он только двинулся к нему, сайгак поднял голову и в одно мгновение скрылся из глаз, оставив по степи струйку оранжевой пыли...

На этот раз мне не удалось хорошо рассмотреть сайгака. Я видел издали, что он похож на домашнюю козу, но только длиннее ее. Окрасом он был рыжий. После я не раз видел убитых сайгаков, привезенных казаками из степей. Меня пленяли их небольшие, изящные, лирой изогнутые и чуть-чуть просвечивающие рожки. Морда сайгака некрасива: она одутловата и коротка, нос длиннее нижней челюсти. Карп Маркович часто рассказывал отцу о своих охотах на сайгаков, но нам ни разу не удавалось даже выстрелить по этому зверю. Я запомнил из рассказов о сайгаках одно, показавшееся мне в то время потешным: они пасутся, двигаясь не вперед, как все животные, а назад, как раки. Сам я этого не наблюдал.

С каким нетерпением ждал я теперь на лето братьев! Ведь у нас два ружья, притом одно – «настоящее».

Рыбалка отошла на задний план. С утра до вечера таскались мы по лугам, озерам и перелескам. В первые же дни замыслили пойти на Бухарскую сторону Урала – к казакам обновлять ружье. Казаки сказывали, что дичи там невпроворот.

Вышли до свету. На своей, Сакмарской, стороне идем напрямиком, не заглядывая на озера. И только на ильмене Сундук нас соблазнила большая стая уток. Подошли к берегу. До уток далековато. Но ждать нам некогда, – нас манит неведомая нам Бухарская сторона. Там, по рассказам, золотые россыпи... Братья бахают залпом по уткам, – утки с криканьем улетают за лес. И вдруг из камышей, возле того места, где дремали утки, вырастает громадная фигура седобородого казака, неумоимого Карпа Марковича, гневно потрясающего своей флинттой...

– Ах, черт вас дери! Пострелял бы вас в варку! В саму что ни на есть утробу! Зарраза вас возьми! Час дожидаюсь, во утки сплывутся, а вы, бахалы латошные, гулебщики слепошарые, музланы окаянны, носит вас тут! Вам лаптем щи хлебать, а не стрелять! Пуцают вас на казачью землю, а вы вон чего! Моргуны косорукие, я отруби-то из вас повытрясу! Свинячьи хвосты-то повыдергаю, – провалиться вам на этом месте!

Мы бежали без оглядки до самого перевоза на Урале. Долго летели нам вслед хриплые картинные ругательства старого сайгачника, разъярившегося от такой неудачи.

На Бухарской птиц и в самом деле оказалось много, но что мы могли с ними поделаться в страшных камышовых зарослях огромных недоступных стариц? У нас не было ни лодки,

ни собаки. В Каленом нам не удалось завести охотничьей собаки. Казаки, а особенно казачки не любят собак. Во всем поселке было всего с пяток, не больше лохматых дворняг, чаще всего бездомных. За утками мы плавали сами.

Целый день мы лазили по густым осинникам, корявому тальнику, по высокой куге – камышам, изрезались до крови осокой, изодрали одежду в колючем ежевичнике, измаялись вконец, продираясь по зеленым повителям, по путаной, как космы домового, траве-«вязеле».

Вышли к Бухарским степям. У Отечественной старицы, там, где кончается лес, почти в один и тот же момент я видел серых куропаток, с треском вырвавшихся из тальника, тетерева, мелькнувшего меж деревьев, уток-лысух, шлепающих по лопухам, и вдали, над степью, большой табун круживших в воздухе стрепетов. Редкостная, почти сказочная картина, унесенная мною в памяти навсегда!

Нам удалось к вечеру промыслить утку-широконоску, кулика-веретенника, и на обратном пути брат пристрелил тетерева, запутавшегося при взлете в ежевичнике. За все время это был второй добытый нами тетерев, притом на этот раз нам попался сизоватый черныш с лирой на хвосте. Восторгу нашему не было предела! Мы торжественно возложили его на ружья и с песней шагали по дороге к перевозу. Испугались, увидя на дороге Карпа Марковича, но он уже отошел и только «для прилику» добродушно обругал нас, восхищенно взвесив на руке косача. В сумерках у устья Ерика на нас неожиданно из-за леса натянула стайка гусей. Низко-низко, едва не задевая нас за головы, они спокойно летели над нами. Охотники растерялись, но, помня наставление отца не пропускать редкой дичи без выстрела, старший брат успел пустить им вслед заряд, конечно, безрезультатно.

Убивали мы тогда вообще немного. Подбитые утки успевали уплывать в камыши. Помню, как-то раз на степном ильмене, несмотря на обилие уток, мы долго не могли заповлечь ни одной дичины. Братья палили вовсю, но без толку. А кряковые, как шмели над ульем, вились над камышами. Отец не выдержал и, выхватив берданку из рук брата, ударил по пролетавшему кряковому селезню. Как ясно, до мельчайших подробностей запечатлелся в моей памяти этот момент! Быстрая вскидка, выстрел, падающая по воздуху вниз головой утка, ее громкий шлепок в воду, брызги, солнечные пятна на озере, зеленые лопухи, белые, желтые водяные лилии, наши возбужденные крики, смущенно улыбавшийся отец и брат, голышом бросившийся в болото.

Отец стрелял теперь чрезвычайно редко. Помню и знаю пять его выстрелов в Каленом. О том, как он изрешетил сапоги поселковому начальнику Бакалкину, я уже рассказал. Второй выстрел он сделал с тарантаса по стае серых куропаток, бежавших от дороги по лужайке, и оставил пару на месте. Третий раз он выстрелил в зверя, мелькнувшего в сумерках около ильменя, когда мы возвращались домой. Я дремал на возу. Зверя я не видел и узнал о нем лишь из разговоров. Был ли то волк, лиса или другой зверь, никто не мог различить в темноте; после выстрела он бесследно скрылся. Четвертым выстрелом отец убил небольшого дудака, по-видимому, джека. Это было без меня, во время деловой поездки на хутор. Пятым и последним выстрелом в его жизни, насколько я помню, был выстрел по кряковому селезню.

4. Чиктукпак

В конце лета мы выехали охотничьей семьей в степь за стрепетами. Отправились в те же места, где были весною.

Степь стала иной. Зеленъ выцвела, высохли озера, пожухли, побелели на солнце солончаки, по старым загонам поднялась стеной дикая горчица – читьыр, помахивая лупоглазыми желтыми цветами. Вымахала в полчеловека полынь, закудрявились круглые перекасти-поле. Ковыли цветут до поздней осени, разбрасывая по степи седоватые пряди с зернами. И теперь, как солоноватое море, они мягко переливались белесыми волнами под солнцем, убегая к голубому подолу неба.

Попрыгала птица, уже реже взлетает на воздух жаворонок, не играют тиркушки. Стрепетов стало больше, но разыскивать их нелегко. Старики строго наблюдают за молодежью, оберегая ее от хищников. Днем выводки хоронятся по ковылям, по заросшим загонам, и только утром и вечером выходят на выпас по открытым местам. Пока не наступишь на них, не поднимутся с земли, убегая межниками, пробираясь в сторону травую. Часто казалось, что молодняк еще не умеет летать. Мы гонялись за ним, пытаясь поймать живьем. Но только раз нам удалось прихватить нелетного стрепета.

Скоро мы приспособились к охоте за молодыми стрепетами и научились высматривать их по ковылям. Подпускают они вплотную, и бить их было нетрудно. В первый же день в два ружья было убито десятка полтора. Отец учил братьев стрелять влет. Старший брат после нескольких промахов сбил одного выпорхнувшего из-под ног стрепета. Мы заорали «ура» и долго не могли опаматоваться от радостного потрясения.

Первый привал к полдню мы сделали на хуторе. Казаки нас встретили радушно. С любопытством разглядывали берданку, осматривали дичь, с усмешкой похваливая стрелков. К вечеру казаки решили поехать с нами на охоту. Стали запрягать лошадей, и тут обнаружилось, что Карий наш заболел: у него по хребту вздулись шишки; «запеклась кровь», «мышки забегали», говорили казаки. Вероятно, это были гнезда личинок овода, одолевавшего в это время скотину. Поставили Карего на отдых в баз, а в наш тарантас запрягли огромного двугорбого верблюда. Править им сел казак Андрей Василистович Калашников. Верблюд шел без вожжей. Сначала он артачился, ревел, мотал длинной шеей, затем зашагал ровнее, подгоняемый длинным прутот. До заката мы проколесили по степи, бахая по стрепетам.

Вечером выехали на дорогу. Отец подтрунивал над нашим «аргамаком»; тогда казак предложил устроить скачки – «перегонки» до хутора. Вначале мы поотстали, Андрей Василистович встал на ноги и начал расшевеливать нашего рысака, подхлестывая и тыча прутот его в зад, зычно покрикивая с присвистом:

– Ойтчюш! Ойтчюш!

Верблюд взревел, замахал досадливо коротким хвостом, но скоро перешел в рысь, сперва тряскую, прыгающую, потом разошелся и понесся вовсю, вытянув шею, далеко и ровно выбрасывая тяжелые круглые лапы.

– Эх ты, милой, неси домой! Наддай еще! – покрикивал задорно казак.

Оранжевым шарфом вздымалась пыль по дороге. С гиканьем пронесли в сторону мимо наших спутников и быстро домчались до хутора, обежали его кругом: сразу верблюд не мог остановиться.

К ночи казаки приготовили национальное кушанье – бишбармак⁴: баранина, густо перемешанная с тестом, нарезанным квадратиками. Нечто похожее на русскую лапшу, но почти без бульона. Названо оно так потому, что обычно едят его прямо пальцами.

⁴ Бишбармак – пять пальцев.

После ужина Андрей Василистович взялся вылечить нашу лошадь. Карего вывели в степь. Осмотрели нарывы, – они не спадали. Тогда казак велел всем отойти в сторону, а сам, взявшись за повод, рывком, как волк, вскочил на спину лошади, но не верхом, а плашмя грудью, и начал грызть ей хребет зубами. Карий взметнулся, брыкнул высоко ногами и прыгающим карьером помчался по степи. Казак держался крепко, не отрываясь от хребта. Другие казаки восхищенно гикали:

- Пушай дурную кровь, пушай, Андрей Василистыч!
- Выгоняй мышек!
- Грызи до нутра!

Минуты две длилась дикая, волнующая скачка. С полкилометра пронесся по степи вокруг хутора своеобразный лекарь, потом легко вскочил на Карего верхом и, выправив повода, усмирил его, переведя на тихий ход. Наконец спрыгнул на землю и стал вываживать лошадь шагом на поводу. Карий дрожал, тяжело дыша; по спине тонкими струйками стекала черная кровь. К утру опухоль спала, лошадь оправилась.

Утром мы уехали с хутора. Никто из нас не думал тогда, что это наша последняя поездка по степи возле Каленого. Стояли чудесные, солнечные дни. Опять целый день таракшим по степи, гоняясь за стрепетами, не думая о возвращении домой. Вечером едем к старой копанке, где сохранилась вода. Сладко спим до зари. Смотрю в прозрачных сумерках на закат, на первые звезды в сиреневой голубизне неба, и мне все кажется, что жизнь человеческая такой вот и должна быть, как эти ковыльные степи, бегущие к полыхающему огнями горизонту. Я не замечал, что мне уже скоро десять лет, что приходит к концу моя вольная, простая, звериная, но светлая пора моей жизни – детство. Вместе с полевыми травами, со степным, ветром, с серыми кустарниками перекасти-поля, с посвистывающими желтыми сусликами легко, бестревожно вдыхал я тогда тонкие ароматы дикой воли. С той поры крепко, глубоко полюбил я степные скитанья. Жизнь бежит дальше и дальше, как гонимый охотниками зверь, а ковыльные просторы, залитые солнцем, широкие зори, нашептывающие причудливыми красками закатов о раздолье и красоте земли, живут во мне, как светлая ласка моей родины. Ни с чем не сравнимы для меня эти степные бродяжничества, беззаботные, неутолимо сладкие, как сказочный рай. Никогда, нигде – ни в уютных городских комнатах, ни в ослепительных театрах, ни при виде грандиозных скопищ книг в Публичной библиотеке, ни на залитых огнями, оживленных столичных улицах – не замолкает во мне этот тихий шелестящий шум степей, не погасают вечерние их зори, ласкающие землю теплыми и радостными огнями.

...Последнее утро в степи. Вскакиваем до солнца. Степь окутана серо-сизыми сумерками, земля дышит холодком. Небо чисто, день обещает быть ведренным и теплым. Уже бьет меня озноб от предчувствия охотничьих приключений: неожиданных взлетов стрепетов, выстрелов, поисков подранков... Я спешу согреть на полевом кизяке чайник, чтобы скорее все напилась чаю и тронулись в степь. Отец, шаркая ногами, ходит озабоченно по ковылю и, поглядывая на сухие сапоги, раздумчиво замечает:

- Н-да... Росы ночью не было. Придется поторопиться домой. К полудню будет ливень.

Поднимается рев:

- Откуда? На небе ни облачка!

Но отец стоит на своем, и мы трогаемся в сторону дома, но без дороги, крюком, целиной, и охотимся. Солнце уже высоко, я с торжеством замечаю, что небо по-прежнему чисто. Но скоро воздух тяжелеет и делается душным. В нем не чувствуется ни малейшего движения. Отец озабоченно посматривает на закат и направляет лошадей в сторону поселка.

К полудню с запада показывается краешком туча, сизая, как спелая ежевика.

- Ну вот, дождались, теперь скоро хлынет дождь. Держи на дорогу!

Тиркушки стаями носятся по воздуху, озабоченно вереща: чики-ток-пак, чики-ток-пак... Откуда-то вдруг налетевшие стрижи стрелой носятся перед лошадьми. Выезжаем на дорогу. Молю отца дать мне выстрелить в тиркушку, как мне было обещано. Отец уговаривает не задерживаться, чтобы до дождя успеть домой, но я упрям, и мне уступают. Первый выстрел по дичи. Раньше я стрелял лишь в ворон, и то ружье поддерживал сзади брат. Теперь я прошу брата не мешать мне, он стоит рядом и следит, как я целюсь. Но меня не надо учить. Сколько раз я тайком, когда дома никого не было, брал со стены ружье и охотился... в мечтах, прицеливаясь в мух, картины на стенах. Сколько зверей и птиц стали жертвами в моем воображении!

Тиркушки бегают у самой дороги. Я встаю на одно колено и поднимаю ружье к плечу. Кто это так трясет его? Я никак не могу поставить мушки в прицельный разрезик. Меня бьет озноб, глаза заволакиваются зеленым туманом.

Отец насмешливо покрикивает с тарантаса:

– Ну, Сысой-стрелок, скоро ты справишься?

Тиркушка вырастает на конце ствола в чудовищную большую птицу, она смотрит в мою сторону, покачивая острым носом.

– Ну, стреляй же, – слышу шепот брата.

И я стреляю. За дымом ничего не вижу, но сразу же бросаюсь вперед к птице. В трясучке огромного счастья вижу, как тиркушка судорожно взмахивает перебитым крылом, бессильная подняться с земли. Хватаю ее и с криком бегу к отцу:

– Убил, убил, а вы говорили: не попаду! Вот это – да!

Все улыбаются снисходительно и торопят меня: туча расплзается по небу, заполняя весь запад. Пускаем крупной рысью лошадей по ровной дороге. Я сижу в углу тарантаса и, не выпуская из рук добычи, рассказываю без конца, как я целил, как потянул за спуск. Тиркушка оправилась от испуга и крепко долбанула меня по руке. Но мне нисколько не больно. Я не знал тогда, что это было счастье.

Километра за два до поселка нас настиг ливень. Он полыхнул с неба, как наводнение. Тарантас сразу наполнился до половины. Мы закрылись кошмой, но это не помогло. Лошади несколько раз останавливались среди дороги, бессильные перед этой грохочущей массой воды. Мы промокли до последней частички наших тел, но кое-как добрались до поселка. И вовремя. Налетела белесая туча, и с неба начал падать град. Сперва это были мелкие орешки, весело прыгавшие по лужам, потом градины стали крупнее, и, наконец, застучали белые ледышки с куриное яйцо. В окнах изб зазвенели стекла. Заревела скотина в некрытых сараях. Глиняные стены домов сразу стали рябыми от ранений. Сделалось темно, как ночью. Я забыл о своей тиркушке, забросив ее под кровать.

С полчаса, может быть, меньше, шел этот страшный град, но память о себе он оставил надолго. Все окна изб, обращенные на запад, были выбиты начисто. На Ерике погибла масса домашней птицы. Забито было до смерти в степи несколько ягнят, изранен в кровь скот, ребятишки, застигнутые в поле. Поп-старовер собрал старух и стал говорить о кончине мира. Многие казаки бились в падучей по полу...

А утром снова сияло солнце, ласково голубело небо. Град за ночь исчез без следа. Я торопился, собираясь с братьями на Ерик ловить подбитых градом диких уток. Мать, посмотрев на меня, засмеялась:

– Рубаху-то наничку надел. Смотри, беда с тобой будет!

Я досадливо отмахнулся, не обратив внимания на ее слова.

– Какая еще там беда! Лепешек дайте нам побольше. Долго проходим.

Но беда действительно стерегла меня. Вечером, когда мы вернулись с охоты, где мы и в самом деле поймали несколько уток с перебитыми градом крыльями, отец объявил мне:

– Ну, Валька, собирайся! Через три дня тебя повезут в Уральск учиться. Думал, на будущий год, но тебе в здешней школе уже нечего делать. Лучше годом раньше.

Я не огорчился в первые минуты, услышав это. Значит, я уже взрослый, скоро буду охотиться по-настоящему. Но перед сном, пораздумав, впал в тоску: целую зиму в городе за книгами!

– Мама, где мой чиктукпак?

– Кошка его съела, – объявила равнодушно мать и указала мне на черные блестящие перышки, валявшиеся на полу.

Жгучее, тяжелое удушье поползло у меня внутри, подступило шершавым комком к горлу и стало душить меня. Я упал на пол и заревел диким, страшным голосом. О чем я плакал? Конечно, о тиркушке, съеденной кошкой. Правда, мать рассказывала после, что я кричал другое. Кричал я, что мне не хочется в город, что я ни за что не поеду туда, что я останусь навсегда простым казачонком, буду рыбачить, что там чужие люди и никто не охотится. Я клял книги, надоедливых учителей. Но я-то был уверен тогда, что оплакиваю погибшего чиктукпака.

Зимой я учился в Уральске, мечтая о том, как летом вернусь в Каленый, обойду заветные места в лугах, степи... Я и в самом деле вернулся туда, но только через двадцать пять лет.

Моя юность

1. Село Михайловское

Из Каленого наша семья снова перекинулась в Оренбургскую губернию – в село Михайловское на реке Сакмаре. Там прожили мы всего один год.

По-прежнему мне не давали в руки ружья, а я хотел видеть себя большим – мне было двенадцать лет – и уже не так охотно шел с братьями «за собаку». Появилось во мне самолюбие. Я рос. Неразумно торопил свои годы, бежавшие и без того неудержимо быстро.

Охотились мы в Михайловском чаще всего по степным болотам на уток. Нередко хаживали к Сакмаре, в горы, разыскивая по лесным долам тетеревов. Ездили раза два в степь за стрепетами. Не помню, откуда мы раздобыли черного лохматого пуделя и назвали его Шариком. Он яро шнырял по камышам за утками и рвал их в клочья. Гонялся как сумасшедший за лесной дичью, вырывая хвосты молодняку. Но все же с ним легче было отыскивать птицу.

Отправились мы как-то на степные болота и скоро натакались на множество кряковых выводков. К полудню набили больше десятка тяжелых уток. Пошли домой и заблудились. Долго кружили по степи, не зная направления, изнемогая от жары и жажды. Брат с серьезным видом спрашивал меня, когда мы выбрались на дорогу:

– А что ты стал бы пить, если бы вот здесь по одной колее бежал лимонад, по другой – пенистый русский квас, по третьей – холодное, с погребца, молоко, а по четвертой – родниковая вода?

Я сердился. Шел стороной и не хотел отвечать на вопросы гоголевского Ивана Ивановича. Ненавистное солнце тяжелой горячей рукой давило землю. Скрыться от него в степи было некуда. Устали мы тогда страшно. Я еле волочил ноги. Казалось, вот-вот упаду от изнеможения.

В стороне замаячил большой стог старого сена, огороженный жердями. На осиновых кольях, прикорнув от жары, сизыми пухлыми комьями покоились вяхири, большие лесные голуби. Было до стога не меньше километра. Братя, зная сторожкость птиц, не захотели идти к ним с ружьями. Предложили мне. Куда девалась моя усталость! Жадно схватив шомполку, сгорбившись в три погибели, я быстро зашагал к стогу. Голуби слетели шагов за двести. Я повернул обратно. Братя трунили надо мной:

– Ты бы полз. Какой же ты охотник! Прешься открыто, как верблюд на водопой.

Было горько, обидно. Захотелось еще сильнее пить. Тело горело. Но вот опять в стороне стог, а около него четыре сизых витютеня. Я снова крадусь к ним, – опять безрезультатно.

– А что, если мы дадим тебе ружье, – спрашивает брат, – и два заряда, вернешься ты с Шариком снова на болота?

– Давай пять зарядов, тогда вернусь!

– Нет, два заряда и, если хочешь, оба ружья.

– Пять зарядов и одно ружье, – твердил я упрямо. Я в самом деле, несмотря на смертельную усталость, готов был повернуть обратно.

В сумерки уже мы кое-как добрались до дома.

Шомполка наша в тот год пришла в ветхость. Как-то, собирая алую малину по горным овражкам, мы выпугнули выводок тетеревов, рассеявшихся по молодому ольшанику. Брат прицелился. Вместо выстрела я услышал стук курка по втулетке. Осечка! И так раз пять. Я принялся тогда швырять в птиц камнями. Они пригибали головы, когда камень пролетал очень близко, но не улетали. Брат подсыпал порошу «на полку», переменил пистон и наконец выстрелил. Одного тетерева убил, но у ружья треснула шейка ложи. Мы вправили расколо-

тую ложу в развилы дерева и стали бахать из него, как из крепостного орудия. Но после этого с ним уже опасались охотиться. Отец продал его при отъезде из Михайловского плотнику Елизару за полтора целковых, а в придачу оставил ему и яростного Шарика.

2. Хутор Шубинский

Когда мне исполнилось тринадцать лет, отец перебрался на хутор Шубинский Орского уезда, где мы и прожили больше двадцати лет. Здесь прошла моя юность. Сюда я не раз приезжал охотиться взрослым человеком. В Шубине я стал заправским охотником, получив наконец, когда мне исполнилось шестнадцать лет, в полное свое распоряжение ружье. Это была длинная берданка, «уточница», выписанная отцом опять с Ижевского завода.

Хутор лежит на степном сырту, бегущем от Сакмарских гор к юго-востоку. За городом Орском этот сырт, незаметно понижаясь, расползается во все стороны бесконечными степными полями. Два ряда белых украинских мазанок покоятся в небольшой степной долине, у исчезающего родникового ручья. На юге, километрах в трех, среди горных увалов бежит речушка Губерля. От Шубина всего пятьдесят с небольшим километров до моей родины – станицы Таналыцкой. А речка Таналычка – наполовину ближе. Она спокойно бежит здесь по степи, заросшая высокими камышами, образуя глубокие омуты, широкие плесы. Сколько дробин рассыпали мы по ней за десятки лет, сколько окуней и щук повытаскали из ее глубоких заводей, сколько вкусных раков добыли из нор на крутых ярах!

Раньше вокруг хутора высились зеленые толстенные тополя, дубы, – теперь остались лишь небольшие березовые колки, выбежавшие в степь, как заблудившиеся девчата. Дальше семи километров к востоку от хутора нет и берез. Здесь же предел распространения на юг белой куропатки.

Степной сырт изрезан множеством увалов, крутых, глубоких оврагов. Из них самый памятный для нас Каин-Кабак, место волчиных выводков, кряковых уток, серой куропатки. Веснами по оврагу бушует вода, с шумом рушатся подмытые ею алебастровые громады снега. Летит масса всякой дичи: уток и куликов самых различных пород, гусей, казары, журавлей, стрепетов и дрофы. Утки, кулики выводятся здесь же по степным долам. В ковылях станует летом много стрепетов. В тридцати километрах, в горах, около хутора Разоренного, выводятся дудаки, высыпающие к осени на шубинские загоны. На Губерле и около Каин-Кабак держится серая куропатка, открытая мною чуть ли не на десятый год наших охот в Шубине. По Губерле осенью нередко бывают богатые высыпки пролетного вальдшнепа.

Каждое лето в течение десяти лет я приезжал сюда месяца на два, чтобы бродить без усталости по степям. До сих пор помню я каждый шубинский овражек, лесок, всякую березку в степи. А сколько красных, алых, розовых утренних зорь видал я в шубинских полях! Сколько багровых, бирюзовых, сиреневых закатов погасло на моих глазах! Какие острые, яркие молнии и огневые сполохи прорезывали ночное небо! Зори тогда мне казались рассветом моей собственной жизни. День в степи всегда напоминает человеческую жизнь: он так же прекрасен и долог, он так же мгновенно уходит в прошлое. До сих пор я не смог отыскать ничего в мире глубже и шире синеющих полевых далей, слаще запахов степного увяданья, чудеснее буйного весною разнотравья, пахнущего на зорях, как материнское молоко. В эти мгновения человек ощущает себя частью земли, а не отдельным существом. Живые, мягкие запахи вечеров, острые чистые ароматы утр, пряные соки дневного зноя полей – как рассказать о них людям, никогда не ощущавшим их?

Если бы со мной приключилась история «Пана Твардовского», о котором я тогда читал, если бы мне вернули юность, я бы провел ее опять в степи. Чудесен рассвет жизни среди природы! Я благословляю судьбу за то, что многие дни мои овеваны степным дыханием.

Помню, меня настигла гроза на речке Губерле. Я скакал домой верхом на рыжем иноходце, конечно, без седла. Под ногою я чувствовал большую шишку на животе у лошади: она еще жеребенком напоролась в воде на острый кол.

С запада надвигалась на нас грузная, сизая грозовая туча. Рыжий нес меня на своей спине быстро и мягко, как в лодке. Брызнули крупные капли теплого дождя, лошадь перешла в карьер. Бешено мчались мы по узкой тропе меж спеющих полос овса и ржи. Высокие колосья хлестали меня. Зеленая ржаная ость засыпала грудь и спину лошади. Пряный цвет овса обдавал меня сизыми брызгами пахучей пыли. Земля томила живой вечерней прохладой: кто-то родной тепло дышал на меня. Верещал коростель, страстно булькал в густой траве перепел, тонкой жалейкой стонал в долу веретенник. На западе, пониже грозовой тучи, высокими кремлями багровых огней разгорался закат.

Тогда от преизбытка счастья, подлинного, как сама природа, я думал:

«Неужели же человек может быть несчастным?»

И отвечал:

«Нет!»

3. Белые куропатки

В первые годы в Шубине нам чаще всего приходилось охотиться на уток и куликов. Это наиболее легкая и добычливая охота. Тогда мы еще не смели мечтать о дудаках, хотя нередко видели их белесо-голубоватые головы и шеи, сторожко вытянувшиеся из ковылей. Но разве к ним подберешься? Мы даже не знали, что вокруг хутора масса стрепетов и по горным увалам водятся серые куропатки. О белых куропатках я уже тогда думал и с ненавистью и с любовью. Это особое чувство к «полевым курам» – так называли их местные жители – родилось у меня после такого случая.

Отец перебрался в Шубино зимой. Я в этот год вернулся из города ранней весной: нас отпустили из училища до Пасхи ввиду надвигавшейся на Оренбург холеры.

Над степями колдовала прозрачная, голубоватая весна. Земля, как беременная женщина, тяжело дышала серыми, сырыми туманами. Стальные лемехи плугов ворочали ее жирные черные пласты. По пашням важно расхаживали журавли, свистели по желтым морям проснувшиеся сурки. Я выехал с отцом бороться поле. Ночевали мы там же, у черных пашен, на зеленых межниках, рядом с родником. Как-то на заре отец растормошил меня и сказал:

– Эй ты, охотничек, чего дрыхнешь? Вон за бугром токует белый куропач. Возьми ружье и попытайся осторожно подобраться к нему.

Польщенный небывалым доверием, я схватил ружье и, дрожа от радостного волнения и утреннего холодка, помчался по указанному направлению. Отец издали шел за мной. По полю несся широкий хохочущий гогот петуха: «Го-го-го! Хо-хо!»

Невидимый леший с диким торжеством оповещал мир о своей страсти. Я пополз. Петух притихал на минуту, затем с новой силой начинал захлебисто хохотать. По вязкой земле, перекидывая ружье перед собой, я подобрался к бугорку, еще покрытому рассыпчатым, ноздреватым снегом. А кругом из земли уже выпирали мягкой щетиной зеленые пуки молодого ковыля. Стлался над полями реденький туман. Сторожко поднялся я из-за пригорка на четвереньки. Птицы сразу не увидел. Потом уже с удивлением заметил, как темный нос ее черной точечкой покачивается над снегом. Петух был еще по-зимнему ослепительно-бел и совершенно сливался со снегом. Теперь я разглядел его распушенный веером хвост, взъерошенное горло и раскинутые широко крылья. До петуха было не больше тридцати шагов. Я прицелился, не вставая с земли. Ружье ходуном ходило в моих руках, в глазах плыл сизый туман от волнения. Мушка прыгала на стволе, как блоха. Долго я целился, наконец рванул за спуск. Пороховой дым, смешавшись с сырым воздухом, застлал все передо мной. Я вскочил и увидел, что петух неподвижно сидит на снегу.

– Убил, убил! – закричал я и бросился к птице.

Петух встрепенулся, нахохлился и с сердитым гоготом кинулся ко мне навстречу: «Го-го-го! Хо-хо!»

Я остановился, растерявшись на секунду от неожиданности. Потом сообразил, что птица даже не ранена, бросился назад за бугор, припал к земле, торопясь перезарядить берданку. Петух, гогоча, бежал ко мне. Он выскочил на бугор, ударил крыльями по снегу и победно захохотал. Сзади раздался насмешливый голос отца:

– Эй, берегись, затопчет!

Я снова выстрелил в куропатку, теперь чуть не в упор. Заряд взбил комья сырой земли под ее ногами. Петух подпрыгнул на воздух, удивленно вытянул белую голову, потом, быстро опаматовавшись, замахал крыльями и, сияя белизной блестящих перьев, красиво планируя в синем воздухе, полетел к лесу. За ним с квохтаньем вылетела из дола порыжевшая с боков самка.

Как зло издевался надо мной отец, когда я, посрамленный, вернулся на стан!

– А я думал, что он тебя совсем раздавил. Хорошо, что ты успел улизнуть за бугор. Здорово ты струсил. А еще просишь себе ружье купить! Куда тебе!

Отец после этого при всяком случае рассказывал, как я охотился за петухом. Братья постоянно трунили надо мной. Я сердился и чуть не плакал от досады. С той поры к белым куропаткам у меня родилось особое чувство ненависти, смешанное с тайной любовью.

В Шубине мы раздобыли себе щенка, ирландского сеттера. Нам подарили его в городе Орске Умрихины, известные уездные собаководы и охотники. Он был весь огненно-рыжий, с небольшою белою звездою на груди. По моему предложению он был назван Цезарем.

Лучшей охотничьей собаки я не видал за всю свою жизнь. Цезарь не проходил настоящей школы. Мы научили его носить поноску, понимать слова: «вперед», «назад», «нельзя», «ищи». И всё. На второе лето он без усталости лазил по камышам за утками, делал стойку на куропаток и перепелов. Постепенно он сам стал выполнять все, чем славятся знаменитые собаки – вплоть до круговой стойки, примененной им осенью на стрепетов, когда они слетали слишком далеко от охотника. Никогда мы не учили его ложиться после выстрела или на стойке, но я сам видел, как он впервые распластался в классическом дауне, когда у него из-под носа начали вылетать серые куропатки. Цезарь был на редкость выносливой, страстной, но сдержанной собакой. Стрелять из-под него серых и белых куропаток было наслаждением. Он-то и помог мне завоевать право на ружье.

Это случилось в августе, на третьем году нашей жизни в Шубине. В один из погожих вечеров наша охотничья семья выехала на ночь в березовые колки к родникам. На заре мы сидели с братом у Паимской котлубани, дожидаясь утреннего прилета белых куропаток на водопой. Я никогда не увлекался этой коварной и добычливой охотой, но присутствовать при ней очень любил.

Ночь. Непроглядная темь. Пухлая, черная, ласковая тишина, ползущая неслышно отовсюду. Изредка зашуршит мышь в траве. Мигнет и погаснет звезда над головой. На востоке розовой полоской начинает краснеть небо. Пискнет пичуга в кустах. Издали с полей донесется хохот «лешего»: «бараний» гогот самца белых куропаток. Ему откликнется другой, третий. По кустам пробежит легкий утренний ветерок. И вдруг внезапный вихрь над головою: к роднику с разлета падает стая куропаток. Писк, клекот, возня. Белеют в темноте крылья птиц, полощущихся в воде. Молодые птенцы весело копошатся на песочке. Первые лучи солнца на далеком кургане, – выводок бежит к хлебам... Вдалеке полем скачет серый волк от деревни, поджигая свое пушистое «полено». Гикнешь, – он карьером припустится удирать к лесу. Из степи донесется мягкий посвист кроншнепа.

В это утро после восхода солнца братья отправились с Цезарем отыскивать по кустарникам выводки. Я потянулся за ними. Утренняя роса еще покрывала степные травы, поблескивала она и на листьях берез. По росе собака особенно хорошо шла по следам куропаток, то и дело останавливаясь у кустов на стойке. Отец наблюдал за охотой, стоя на высоком кургане, откуда видны были все лесочки. Братья палили без усталости. Отец кричал с кургана, куда перемещались птицы. Охотники горячились. Стреляли слишком близко, при самом взлете птиц, и, конечно, мазали всюю. В одного петуха было сделано чуть ли не десять выстрелов. Он вылетал всегда стремительно, бросался охотникам под ноги и несея по земле за кусты. Наконец Цезарь прихватил его на поляне, отрезав ему путь к деревьям. Петух шарахнулся прямо на брата – в большой таловый куст – и запутался в его ветвях. Брат ударил его в упор. Петух повалился на землю. А рядом мягко упало его белое как снег крыло, начисто отрезанное зарядом дробы. Это крыло до сих пор хранится у брата.

К полудню мы возвращались домой. Братья заполевали всего-навсего двух куропаток, причем вторая была совершенно разбита. У меня в глазах навязчиво мельтешили красноватые молодые куропатки, вылетающие в пяти шагах. Я заявил, что, если мне дадут ружье,

я берусь к вечеру принести домой трех птиц. Раздалось ироническое хмыканье. Но отец с язвительным задором усмехнулся:

– Хвальбишка ты известный! Я могу тебе дать ружье, но с одним условием: не выполнишь слова – все лето сидишь дома.

Я знал, что отец сдержит свое слово в случае моей неудачи, но во мне всегда жили неискоренимое упрямство и вера в свою охотничью звезду. Я согласился. Отец распорядился дать мне ружье и двенадцать зарядов. Спрыгнув с телеги и свистнув Цезаря, я бегом направился в лески, боясь, как бы отец не переменял своего решения. «Возьми хлеба!» – крикнул мне брат, но я не оглянулся. Крепко сжимал я обеими руками длинное ружье, поглядывая на курган, желтой шапкой маячивший впереди. За ним начинались березовые колки. Едва ли кому лучше меня в то время были известны места, где водились куропатки. Сколько раз я пас там лошадей в ночном с ребятами! Я отлично знал образ жизни этих птиц; знал, когда они выбираются к хлебам, когда улетают на родники, когда отдыхают в кустах. Я не сомневался, что скоро разыщу их, – но убью ли? А вдруг нет? Я начал серьезно молить Бога, чтобы он мне помог:

– Ну что тебе стоит осчастливить меня навсегда! Ведь я никогда больше ни о чем не буду просить тебя. Ей-богу!

Быстрым шагом обошел я первые лески, зная, что здесь птица почти не держится. Цезарь несколько раз вставал над перепелами. Я увлекал его скорее вперед, дорожа каждой минутой.

– Цезарь, милый, ты не горячись, будь спокоен, – шептал я собаке и сам трясся в самом настоящем ознобе.

Цезарь бежал деловито впереди, изредка оглядываясь, словно проверяя серьезность моих намерений. Мы шли теперь окрайкой «куропаточьего» леса. Выскочил, напугав меня, серый большой заяц и, приседая, затрусил по зеленому долу в степь. Цезарь оглянулся вопросительно на меня. Я крикнул ему: «Нельзя!» – он спокойно двинулся дальше. Вылет жаворонка, стук дятла, треск ветвей всякий раз выводили меня из равновесия. Я судорожно вскидывал ружье. Солнце уже низко лежало над степью. Я знал, что сейчас куропатки начнут выбираться к хлебам, и звал Цезаря поскорее вперед. Но он повернул обратно и, не слушая моего взволнованного зова, тихо зашагал к одинокой березке, низко над землей изогнувшейся, как заплесневелая водопроводная труба. Не доходя до нее, собака дрогнула и замерла, не успев спрятать мокрый розоватый язык. Губы ее тряслись, круглые глаза заворуженно смотрели вперед.

– Пиль!

Цезарь с натугой шагнул раза три и снова остановился, круто повернув лобастую голову влево. Сейчас вылетят куропатки. Они уже порхали в моих глазах. Я страстно ждал их вылета и еще больше боялся этого. Я медлил, стараясь найти в себе спокойствие. Но оно не приходило. Весь мир сосредоточился теперь для меня вот здесь – в этой корявой березке с редкими зелеными листьями, как бы искусственно наклепленными на белые ветви. И вдруг – булькающий беспокойный клекот в траве, мелькание белых крыльев: матерая старка, опалив мои глаза красноватой рыжиной перьев, порхнув, уселась на ствол березы, застыв рядом с корявым суком. Она смотрела на меня черными, как смородинки, глазами. Вместе с выстрелом и густым дымом из-под дерева с шумом вылетела вся стая. Цезарь рванулся вперед. Не добежав до березы, опал на передние лапы, прополз по траве, хватая бившуюся в траве птицу.

– Есть! Уф!

Дрожащими руками, оправив бережно перья, уложил я в мешок свою первую добычу. В мешке еще раз ощупал ее: есть! Никогда, ни раньше, ни позже, мне не доводилось видеть куропатку на дереве, а тут – такое счастье! Но я, конечно, никому никогда не расскажу, что

я стрелял ее сидячую. Да и кто подумает это? Цезарь меня не выдаст. Милый Цезарь, где ты? Я огляделся кругом: он мертво стоял в двадцати шагах от меня среди старого высокого ковыля. Я обежал его правой стороной, чтобы отрезать птице отступление к лесу.

– Пиль!

Из травы свечой неуклюже метнулся молодой птенец. Зажмурился неожиданно для себя глаза, я нажал гашетку: «Чик!» В горячке я забыл зарядить ружье. Конфузливо смотрю на недоумевающего Цезаря. Острый стыд пронизывает меня: «Охотник! Трус! Зажмурил глаза! Вот расскажу отцу – тогда узнаешь! Молокосос!»

За полосой реденьких берез виднелось ровное мягкое поле зеленых хлебов. Я поспешил туда. Цезарь, пройдя березняк, сразу же причуял след птиц и повел за ними по межнику, переставляя осторожно лапы, словно боясь наколоться. Куропатки не допустили собаку близко. Они паслись на открытом месте и вылетели в тот момент, когда она еще шла к ним. Их было штук пятнадцать, не меньше. Не целясь, пустил я заряд по стае. Две куропатки скользнули в траву с перебитыми крыльями. Это было так неожиданно для меня, что я подумал: они просто опустились на землю. Но Цезарь уже держал одну из них в зубах и бежал за другой. И вот я сжимаю их в своих руках. Невольно оглядываюсь кругом: нет ли кого-нибудь поблизости, чтобы он мог взглянуть на мое торжество. Торжество! Это же невероятное счастье! Минуту стараюсь быть серьезным, как подобает старому опытному охотнику. Но слышу: меня распирает от радости. Нет, это же невозможно! Мне показалось тогда, что я стою на самой высокой точке земли, в самой горячей ее сердцевине. Я ходил из стороны в сторону, не зная, что мне делать. Кровь горячими толчками билась во мне. Я неожиданно для себя прыгнул плашмя в траву, высоко вскинув ноги. Я бросился к Цезарю и начал душить его. Большие, влажные, темные глаза его сияли счастьем и страстью. Он улыбался мне, оскалывая зубы. Бил меня в восторге своим крепким хвостом.

– Цезарь, да мы же с тобой герои. Кричи «ура»!

Я запустил высоко в воздух фуражку. Как дикарь, махал ружьем над головою. Пел, плясал. В тот момент я возмнил себя гениальным охотником: с двух выстрелов выполнил я урок, данный мне отцом. Скорее домой! Что ты? У тебя в запасе еще десять зарядов! Можно убить по крайней мере пяток птиц. Я оглянулся на солнце. Оно стояло на четверть выше горизонта. О, я еще успею поохотиться!

Как гордо теперь я вышагивал за собакой. На опушке леса – новая стойка Цезаря, вылет куропаток. Их поднялось много, вразброд, в разные стороны. Я долго не мог выбрать цели. Наконец выстрелил. Птица не упала. Я удивился. Это был первый мой промах в тот день. Тороплюсь выбросить патрон из ружья. Он не выходит. Я дергаю затвор, оцарапываю до крови себе руку, а раздутый патрон не поддается. Ножка у меня нет, чтобы вырезать шомпол. Ломаю сырой прут, начинаю проталкивать его в дуло. И вдруг он обламывается у самой стенки ствола. Зубами пытаюсь ухватить его, – не могу. Готов заплакать от отчаяния. Но сделать ничего нельзя: охота моя неожиданно кончилась. А в это время, как нарочно, Цезарь вытянулся у полосы хлебов над куропатками. С тоской слежу за их планирующим летом. Зову Цезаря, он не хочет прекращать охоту. Иду не оглядываясь. Сзади клохтанье вылетающей старки. Всячески браню себя.

Только у кургана немного успокоился я, сообразив, что все-таки моя охота вышла сказочно удачливой. А если бы не этот старый, проклятый патрон, сколько бы я набил дичи!

Мой приход домой, наверное, был похож на возвращение полководца после удачного похода. Вначале я старался держаться скромно, но скоро забыл об этом и, захлебываясь, кричал:

– Я как ахну, она – турманом. Потом сразу двух. Без промаху. Все три заряда выпустил. Это да! И третью подбил, перья так и посыпались, да не видно в кустах, куда упала...

– Перья посыпались и куропатку за собой унесли, – смеялся отец, видимо, довольный мною. – А эту, поди, Цезарь поймал? Видно, потрепана.

– Ну да, Цезарь! Я как ее ахну, она...

Шутки отца, насмешки братьев не могли погасить моей безмерно торжествующей радости. Теперь я стал равноправным в охотничьем мире. Я завоевал право на ружье, никакая сила не отнимет его у меня. Кончилась моя подсобная, «собачья» роль на охоте.

Через день я снова был с ружьем в лесках. У меня было уже двадцать зарядов. Я думал принести не меньше десятка птиц. Распалил все патроны по куропаткам, не убив ни одной. Только на обратном пути мне удалось подстрелить на пруду захудалого веретенника. Тогда я понял, что искусство стрельбы не так просто, как мне показалось в счастливый для меня день. В этом не раз пришлось мне горько убеждаться и позднее за мою долгую охотничью жизнь.

4. В снегах

Через два года я поступил в Оренбургскую семинарию. С малых лет меня прочили в духовную академию, как лучшего ученика в классе. Самое ученье, за исключением богословских наук, я любил до страсти. По ночам исписывал целые тетради сочинениями о негритянской республике Либерии, воспоминаниями о Каленовской степи, прочитал всю училищную библиотеку. Меня увлекала, как спорт, арифметика: не было случая в моей практике, чтобы я не мог решить задачу. Но учителей я ненавидел. Я считал, что эти люди не имеют никаких прав на меня, и презирал их. Во время уроков я сидел на одной парте с Володи Петровым, юношей добрейшей души. Я прозвал его Гамлетом. Он был прекрасно наивен. Вступал с учителями в бесстрашные споры по любому вопросу; я же с пятнадцати лет не разговаривал с ними вне уроков. У меня был свой мир. По ночам, забравшись в уборную, я читал Толстого, презирал галстуки, модные тогда штрипки, не выходил на семинарские вечера, так как ненавидел танцы, до безумия любил физические игры и думал о переустройстве мира. Володя относился ко всему с радостным благодушием.

Первого мая мы пошли с ним в зауральскую рощу на митинг. Казаки окружили собравшихся. Все кинулись по лесу врассыпную. Мы побежали к Уралу. Сзади жутко чокнули выстрелы, шаловливо забулькали пули по воде. Роща оказалась оцепленной; нас, как зайцев в загоне, забрали в полон. Два дня нас продержали в участке, а после этого уволили из семинарии до весенних экзаменов. Лето я прожил «волчком» в городе. А зимой меня снова вытурили из бursы за издание на гектографе журнала «Встань, спящий!». В день увольнения белокрысый учитель по математике поставил мне по геометрии пять с плюсом: я экспромтом доказал знаменитую теорему о «Пифагоровых штанах».

Впервые зимой я ехал в Шубино. Настроение у меня было хорошее. Я был вполне уверен, что и без семинарского диплома завоюю жизнь. Товарищи считали меня погибшим, но я не страшился судьбы. Во мне бурлила здоровая напористая кровь пермских промышленников, привыкших продираться по трудным зверинам лазам. Я стремился к новым, нехоженным дорогам.

Приехал на хутор я рано утром и не узнал селения. Все оно было занесено снегом. Вместо белых мазанок виднелся длинный ряд пухлых сугробов, сверкавших прозрачной синью. Розоватый дымок мягко вился над ними, как над северными юртами. Во все стороны, синяя, убегало белое ровное поле, по нему играли красноватые острые лучи зимнего солнца. Заячьи следы узорами бежали по снегу от гумен к избяным сугробам.

Мир здесь был иным: безжизненно тихим, прозрачным, покойным.

Я вошел в кухню. Пахнуло прелым теплом. Очки наволокло потом. Сквозь туман я увидел, что у печки возится незнакомая мне девушка. Сажает в печь длинной лопатой сырые хлебы. Девушка повернула ко мне заспанное розоватое, нежное лицо, посмотрела в мою сторону и равнодушно отвернулась к печке.

— Здравствуй, Настя, — сказал я тихо.

По письмам я знал, что матери по дому помогает девушка Настя. Настя удивленно скользнула по мне своими серыми с синими прожилками глазами, поправила длинные темно-каштановые волосы и насмешливо протянула:

— Здорово, если не шутишь. Ты, мабуть, попив сын?

Запах сырого теста, кухонная прель, вонь овчин, шипение березовых дров, едкий дым кизяка — все это прошло мимо меня. Я отворил дверь в столовую. Наши еще спали. Я не стал будить их, не торопясь узнать отношение отца к моему увольнению из семинарии. Подошел к окну, откуда снова глянул на меня нежный мир снега, утреннего розоватого света, широких тихих полей. За дверью слышались легкие шаги Насти. Я хотел ее видеть. Мне стало мучи-

тельно хорошо и больно. Показалось, что сзади меня и за окном над холодными снегами большим роем жужжат желтые длинные осы, собираясь меня ужалить.

Тогда я понял, что детство мое кончилось и вот сейчас, в эти минуты, началась какая-то иная – страшная, чудесная, тревожная – пора моей жизни.

Вечером я стоял на вершине засыпанного снегом сарая. По улице лениво брела, с трудом переставляя ноги по глубокому снегу, скотина на водопой. Коровы жмурились от резкого света солнца, тоскливо мычали, жалуясь на застойную зиму. Бабы и девки шли с ведрами к колодцу. Мимо меня не оглядываясь прошла с коромыслом Настя. Я смотрел на ее сильные, стройные ноги, вскидывающие полы затасканного полушубка, на ее серьезное покрасневшее лицо, и мне показалось, что я знаю эту девушку издавна и что никогда не было и не могло быть снегов, изб, дыма, солнца, да и меня самого, без нее.

Настя, упругим шагом проходя от колодца с полными ведрами, насмешливо, звонко крикнула мне:

– Эй ты, попив сын, що лодыря гоняешь? Таскал бы со мной воду!

Я начал выкачивать ей воду из глубокого колодца. Я любовался ее здоровой силой, грубоватой красотой, меня волновал ее нежный девичий смех, большие глаза, но я не знал, о чем с ней говорить. Раза два она улыбнулась мне, и этого было достаточно, чтобы я почувствовал себя счастливым.

– Ну, довольно. Спасибо. На кухне тебя дожидает Степан Кальбан, гарненький хлопчик.

Глаза Насти лукаво смеялись и смотрели на меня доверчиво и тепло.

На кухне и в самом деле меня ждал Степан Кальбан, сумрачный парень, пришедший звать меня караулить волков и зайцев, бродивших ночью по гумнам.

Степан был примечательный парень. Ему было уже около двадцати пяти лет, а он оставался холостым. Для деревни это было необычно. Но кто же из девок согласился бы выйти за него замуж? Они всегда смеялись над ним, а он боялся и избегал их. Водил он компанию исключительно с ребятами не старше четырнадцати лет. Был он на вид неуклюж и застенчив, напоминая старую низкорослую березу в степи. В обществе взрослых молчалив как рыба. Все его считали за туповатого и недалекого парня. Летом он постоянно пас стадо, проводя все дни в поле. Мы часто ночевали с ним в лесках, куда я выезжал к нему в ночное. Я знал его лучше других. Степан обладал редкостным воображением. Он мог часами рассказывать на своем уродливом жаргоне давнего украинского выходца самые причудливые истории о себе. Я никак не мог, например, его разуверить, что он видел дикобраза в степи, причем дикобраз этот был величиной с жеребенка. Степан прочитал массу книг и не боялся читать даже «Историю» Ключевского. В двадцать пять лет он был уже наполовину сед: напугался в детстве. Ночью на пашне ему причудилось, что к нему идет человек ростом до неба, с горящими вилами, со множеством огненных рук и ног.

Мы вышли с ним во двор. В кухне, при Насте, он не мог выговорить ни одного слова. В темном закутке закрытого на зиму двора Кальбан схватил меня за руку и, захлебываясь, булькая, словно плотая горячую пищу, заговорил со страшной серьезностью:

– Вчора сидел я на гумнах, зайцов караулил. Бабка мнеказала: «Ой не ходи, Степан, под недилю: бо леший тебе заист». Я ж знаєшь чого боюсь? Пошел. Тільки пришел до овина и сразу ж уснул, як проклятий. Сплю, а сам один глаз не заплющил и слухаю: кто-то рядом коло мене шепотит. Оглядаюсь: никого нема! Опять голову до плеча сронил, а глазом вокруг виглядаю. Ружье у колена. Чую: кто-то зирк, зирк по стволине. Лапаю руками кругом соби: никого нема. Што за бисова штука? Снова притулился, як миша у нори, а по ружью кто-то когтями, да ясно так: зирк... зирк... Волосы у мене на голови повставали, под рубахой по спине як стадо блох пасетя. Леший, думаю, меня пытаєт. Ну, подождь, я тебе зараз спотчую свинцовым взваром. Посапываю. Чы сплю, чы не сплю, – не видно. Слышу опять: зирк,

зирк. Эх, кажу, Степан, не послушал ты стару бабку, теперь не трусь! Як давну за спуск, оно як пыхнет! Леший, будто девка на посидках, як заверещит, загогочет; по снегу заскакал, я его руками лап, лап, а он уже сховался в снегу и вместо себя зайца кинул. Добрый такой русачина. Башка вся дробью разбита.

– Да, может быть, то и был заяц с самого начала? – говорю Степану.

Он возмущенно машет руками:

– Ни. То был леший. Я ж бачив его. Не справился я его за хвист ухватить, был бы у мене в руках. А он, гадюка, хвист промеж ног сховал. А его, окромя хвиста, ни за ще не удержишь. Это я знаю.

Я смеялся, но он продолжал серьезно, без тени улыбки:

– Нет, ты подождь. Я тебе расскажу, что со мной раньше приключилось. Пошел я на волкив на гумно. Они у Зюбановых семь овец задрали. Зализ я на маковку скирды, сижу, як в печурке. Ночь темная. На небе звезды засветились, а тут ще темней. Перед скирдой пале-ный боров у мене лежит. У Хведора Телеги подох, я его опалил и за канаву уволок. Зайцов набежало як баранов. Но я ожидаю волкив. Гляжу: идут от Губерли долком. Поперек молодой жеребец, справный такой, а позади матерая волчица. Идут гуськом, выглядят вокруг, як хлопцы в чужой деревне. Я справил ружье, а сам раздумываю: кого ж стрелить – ее или его? Подошли они шагов сорок до мене. Я изладился по нему да як пыхну. Он на дыбки, к овину и закорезился. Волчица взвыла, будто мать о диточках, потом як махне ко мне. Ще тут робить? Я плашмя на другую сторону овина, ружье с рук не выронил. Была б тут моя смерть, да, видно, Бог не схотел моей гибели. Стояла у овина кошелка, половину в ней бабы носят. Я упал на нее, она покатила и накрыла мене. Волчица на кошелку. Ласкае зубами, лапами кошелку дерет, схилить набок хочет, – я не пуцаю. Сыплю порох в ружье. Сколь его по земли распылил, не счесть, а все ж зарядил, на пыж ваты из шапки зубами выдрал, жменю дробы вкинул да як ее по брюху жарну, она аж на сажень вверх подскочила и утукать. Вышел я из-под кошелки, а кругом никого, и крови нема. Вот она, яка история!

Из-за плетня неожиданно послышался светлый смех Насти:

– Ох, и брехать же ты, Степан, здоров. Ну и брехло!

Степан отплюнулся в сторону девки и замолчал, насупившись. Я проводил его улицей до дому. Мы условились, что около полуночи он стукнет в кухонное окно к Насте, а она скажет мне, и мы пойдем на гумна.

Спал я в столовой на полу, разостлав белую кошму. Сердце мое замирало от волнения в ожидании прихода Насти, – заснуть я так и не смог. Я слышал, как Настя вошла в столовую, но не поднялся, прикинувшись спящим. Была она босая, в ситцевом платье. Наклонившись надо мною, она тронула меня за руку:

– Вставай, Валя. Не то Кальбан замерзнет пид окнами.

Я задержал ее руку в своей. Она потянула меня с постели и, улыбнувшись, ушла на кухню. Когда я проходил на двор, Настя доверчиво попросила меня:

– Будешь ворочаться, меня збуди. Тесто у меня в квашне. Ты чуть меня тронь, – я живо опрокинусь.

Степан усадил меня на высокий скирд соломы против туши борова. Сам расположился в стороне, у небольшой копны, занесенной снегом.

Впереди за канавой начинались зимние поля, серыми сумрачными полосами убегавшие в темноту ночи. Сквозь голубоватую изморозь сверху проглядывали звезды. Хутор спал. Даже собаки приумолкли к полуночи. Со всех сторон распростерлась тишина, ничем не тревожимая. Меня укачивало, веки невольно слипались, хотелось спать. Луны не было. И чудилось мне, что меня уносит от шумных городов, от огней, от теплых комнат в серый сумрак безлюдных пространств, в хаос мертвого от холода мира. Впервые меня охватила жуть от одиночества, стало мне страшно своей смелости, из-за которой я был выброшен из привыч-

ного житейского закутка. Не будет ли моя жизнь одиноким блужданием по серому сумраку ночи? Не слишком ли тяжелый путь я выбрал для себя? Самая настоящая животная трусость помимо моей воли просачивалась в мою душу. Захотелось вернуться снова на теплую кошму, снова очутиться в привычной колее, среди товарищей в семинарии, отдаться на волю ненавистным учителям... Я дремал. И видел во сне себя большим, скучным, одетым в длинный черный сюртук со светлыми пуговицами...

В этот момент сзади остервенело залаяли собаки, – я скинул с себя наваждение, выбрал себя за подлую животную трусость и стал внимательно вглядываться вперед. Поля ровно струили серый сумрак. Кругом ничего нельзя было заприметить. Но во дворах зло надрывались собаки: где-то неподалеку ходили волки. Я сидел, завернувшись в шубу, на самой макушке скирда. Рядом шла канава. Кто-то зашуршал в ней тихо и осторожно. Я привстал на колени и глянул вниз. По полю бесшумно метнулась седовато-белая волчья тень. Судорожно схватился я за ружье, но было уже поздно: тень моментально растаяла. Я готов был заплакать от досады. Волк крался возле меня вдоль по канаве, всего шагах в десяти. Эх, что бы мне заранее приготовить ружье, – я бы ударил его чуть не в упор. О, каким бы торжеством было мое возвращение домой! Я втащил бы волка прямо в комнату, разбудил бы отца. Как бы взглянула на меня Настя!

Мои горькие размышления прервал неожиданный выстрел Степана. Я привскочил и стал вглядываться в его сторону. Из-за копны показалась фигура охотника. Двинулась вперед и на четвереньках стала елозить по снегу. Я скатился со скирда и пошел к нему.

– Кого стрелял?

– Русака. Повалился, а потом скаканул вот сюды... Да где же он, бисов сын?... Ага! – прохрипел страстно Степан. – Ага, вон вин. Ишь яка громадина!

Начиналась предутренняя поземка. Закрутились над полями белые космы снега. Мы тронулись домой. Я рассказал Степану про волка.

– Це опять леший был, не волк, – невозмутимо заметил Кальбан. – Ему негде было пройти, як мимо мене. Я б его убачил.

На улице Степан начал рассказывать, как он прошлым летом ходил искать цветущий папоротник, как отыскал его на Губерле под скалами, у корня старой березы, хотел было сорвать, но из-под дерева вылез старик, седой-седой, с длиннущей бородой, и стал уговаривать Степана не трогать в этом году клада. Папоротник надо рвать всегда в високосном году, не раньше как через сто дней после именин Касьяна, лучше всего в Иванову ночь. Степан не послушал старика и протянул руку к чудесной траве, – ударил гром, земля заходила ходуном, Степана швырнуло на воздух. Очнулся он только днем на задах у себя, возле старого колодца.

– Теперь я смерти своей дожидаю, – грустно заметил Кальбан.

Я смеялся над его страхами, но он продолжал уверять меня, что ему не дожить до Нового года. Мы распрощались с ним у нашего колодца. Я прошел через сугробы во двор, ласково потрепал выскочившего из-под сарая Цезаря и тихо отворил дверь в кухню.

Настя спала на полу у лавки. В кухне было жарко, она лежала, широко разметавшись. Голая, изогнутая нога ее была открыта выше колена. Было что-то звериное и нежное в изгибе этой сильной ноги. Я наклонился над постелью и закрыл ногу одеялом. Настя замычала, но не проснулась. Я смотрел на лицо спящей девушки, улыбавшейся чему-то во сне, и думал со страхом:

«А что, если поцеловать ее?»

Не решился. Показалось пошлостью мое намерение. Взял осторожно ее руку. Девушка открыла глаза, узнала меня и беззвучно засмеялась:

– Я сейчас, сейчас... Уйди!

На Святках мы со Степаном гоняли по хутору русаков. Русаки ходили ночами к ручью, пробегавшему меж двух улиц. Там они оставались и наутро, забираясь под овины с хлебом.

Степан заходил на окрайку улицы и гнал на меня зайцев. Я сидел за плетнем, с нетерпением поглядывая через его щели. Споро мчался матерой русак вдоль ручья, вскидывая на бегу рыжим задом, подергивая черными пятнами длинных ушей. Веселыми раскатами гремели мои выстрелы в чистом морозном воздухе. Мы бежали с двух сторон к раскинувшемуся на белом снегу рыжевато-му пышному красавцу, возбужденно орали, взвешивали его на руке, споря, сколько в нем будет фунтов: десять или двенадцать. Опять шли на другой конец села, чтобы снова пережить этот жгучий охотничий озноб и здоровую радость от удачного выстрела.

Настя радовалась вместе с нами, когда мы разложили на полу кухни двух тяжелых, пышных, по-зимнему красивых русаков. Угощала нас чаем. Смеялась над нами:

– Во дворе всякий дурень убьет.

Даже Степан попытался что-то пробунчать себе под нос, защищаясь от ее насмешек. Мы с ним задались целью отомстить ей: замучить ее «самоварами». Сперва сами выпили стаканов по десяти чаю, потом стали незаметно выливать его в лоханку. А когда Настя ставила второй самовар, насыпали ей туда дробы, и самовар не закипал часа полтора. Настя не понимала, в чем тут дело, жгла без конца угли, с негодованием кляла «проклятую посудину». А когда мы сознались, – еще пуще бранила нас, обещая пожаловаться моей матери. Незатейливые наши радости продолжались до самого вечера. В сумерки Степан ушел домой.

На Новый год утром Настя сообщила, что Степана нашли на дне старого колодца мертвым. Он провалился в него, возвращаясь ночью с гумен. Я пошел взглянуть на его тело. Мертвый друг мой лежал еще без гроба, под темной божницей, на сером деревянном столе в своей низенькой избушке. Над ним беззвучно плакал единственный родной ему человек – бабка Федотовна. Теперь Степан походил на взрослого: лежал длинный, тяжелый, опухший, как утопленник. Был он весь в ссадинах, синий, с застывшим ужасом на темном лице. По-видимому, всю ночь он пытался выбраться из глубокого безводного колодца. Упираясь в обледеневшие стены, лез вверх, срывался и падал на дно. Жуткая, бессмысленная смерть!

Вечером я сидел на снежном сугробе у своего двора и смотрел на серые поля. Начинаясь буран в степи. По полям металась белесая мгла, высоко взметывались над сугробами тучи снега. Буря завывала жалобно и надрывисто, будто подавившаяся собака. Тихо подошла ко мне в темноте Настя, обняла меня теплыми руками за шею, прижалась лицом к моей щеке. Я глянул с радостным удивлением в ее глаза: в них поблескивали слезы, но в них же виднелись глубокая теплота и ласка ко мне.

– Настя, кому это надо? Зачем такая смерть? – спросил я юношески наивно.

Девушка, не отвечая, смотрела на меня. Я коснулся губами ее щеки. Она прижалась ко мне еще ближе. Тихая глубокая радость заворошилась во мне, словно пухлый птенец впервые выбежал на солнце.

– Настя, ох и люблю же я тебя!

Минуту она смотрела на меня, потом серьезно, задумчиво протянула:

– Какой же ты дурний!

Поднялась и, повернувшись, тихо пошла во двор, размеренно, раздумчиво переставляя ноги по вязкому глубокому снегу.

5. Осенние высыпки

Весной я навсегда распрощался с семинарией. Сдал экзамен на учителя второклассного училища и получил назначение в Ак-Булак Тургайской области. Перед отъездом на место службы заглянул на неделю в Шубино.

Было уже начало октября. Шли непрерывные дожди. Накануне ночью впервые выпал снег, утром быстро растаял, но днем снова посыпала белая крупа вперемежку с дождем. Сегодня Настя кончала у нас работу. Завтра она уходит к себе на хутор Туратку. Родители объявили ей, что этой осенью она должна будет выйти замуж.

Она копошилась на кухне, когда я утром зашел туда. Мне показалось, что я не смогу с ней расстаться. Ее серые глаза были для меня родными, я не представлял своей жизни без них. Смущаясь себя самого, я предложил ей стать моей женой и поехать со мною в Ак-Булак. Я не боялся жизни в глуши. Центр мира мне представлялся там, где я находился. Я не сомневался, что она согласится на мое предложение. Но она сразу, не задумываясь, сказала мне просто и серьезно:

– Ни, у нас с тобой дила не выйдет. Ще мы будем робить с тобой? Ты с книжками, а я ще? Ты попив сын, я простая хохлушка, мне нужен хохол. Ни, Валя, не нужно.

Ее тон, снисходительный и ласковый, обезоружил меня. Я не решился даже рассказать ей о своих мечтах дать ей образование, «приблизить» ее к себе. Мои намерения показались мне вдруг постыдными и лживыми. Мы с минуту тревожно глядели друг на друга, не говоря ни слова. Я чувствовал себя беспомощно и неловко.

До полудня я не знал, что мне с собою делать. Готов был реветь от едкого, разъедающего ощущения беспомощности, одиночества и осенней бесприютности. Сразу до корней обнаружилась вдруг моя щенячья, человеческая немощь. Как пьяница, я искал забвения. Решил утишить свою тоску охотой. Рыжий, уже по-зимнему лохматый Цезарь взвизгнул от радости, увидав меня во дворе с ружьем. Мы вышли за гумна. Шумела осенняя шуга: мокрый, липкий снежок, как рваное белое тряпье, крутился перед глазами. Цезарь заскулил, принюхиваясь к промозглости сырых полей. Слащаво и жутко, будто лицемерная старуха, напевал вокруг нас мокрый ветер. Мир прятал свое лицо в неприветливых сумерках. Я подумал: «Не поворотить ли домой?» Но я был упрям, за плечами у меня висело ружье, рядом бежала собака. И я зло двинулся навстречу осеннему ветру.

Я шел под гору, спускаясь к речке Губерле, скользя по густым прядям древнего, седого ковыля, не ожидая дичи. Вдруг Цезарь повернул голову, принюхиваясь навстречу ветру. Вытянулся и повел к гривке ковыля. Едва успел я сбросить ружье с плеча, как из весенней вымоены вырвался стрепет. Ветер ерошил на его спине перья. Я ударил его, прицелившись несколько оторопело. Птица безвольным комом упала на землю. Это был отсталый грязный, худой заморыш, обреченный на неизбежную гибель. Никогда не доводилось мне так поздно встречать одиночек-стрепетов, и я был сильно обрадован этой бедной добычей. Я вообще мало надеялся по такой погоде найти дичь, но невероятные охотничьи удачи сопутствовали мне в этот день. Не успел я сделать нескольких шагов по глубокой балке, сбегавшей к реке, как впереди меня вылетела птица, похожая на заржавевший красно-бурый полумесяц. Цезарь удивленно остановился, следя за ее мечущимся полетом. Выстрелить я в нее не успел, но сразу же понял, что это вальдшнеп. Я не знал этой дичи, но отец с таким волнующим уважением рассказывал всегда о вальдшнепах, что я почувствовал себя искателем клада, увидавшим крупный самородок. Минуту, не меньше, стоял я на месте, тревожимый радостью и опасениями: «А вдруг это случайный одиночка?» Вокруг стало светлее. Впереди по берегу горной речушки высились тихие осенние березы, по земле стлался нежно-пятнистый плат золотистых листьев. Цезарь, как и я, никогда не встречался с вальдшнепами. Но

он понял мое волнение и бросился на поиски. Скоро причуял дичь, повел, осторожно неся лапы, словно боясь разбить их о землю. Я не знал повадок вальдшнепа и думал о нем, но здесь оказались серые куропатки. Они не любят, когда взматереют под осень, близко подпускать собаку. Цезарь это знал хорошо. Он распластался по земле и не хотел идти вперед. Он дрожал от ревности, видя, что я обхожу его. Кося на меня темным глазом, с отчаянием двинулся он наконец вперед: «Будь, что будет...» Со звоном вылетела стая куропаток. Первым выстрелом я ударил по одиночке и промахнулся. Успел перезарядить ружье и выстрелить еще раз – в запоздавшую тройку. Одна птица, роняя красно-серые перья, завертелась в воздухе и упала в траву.

Внизу у реки было тише. Снег перестал идти. Временами по земле радостно проползали светлые лучи солнца, становилось по-особому хорошо: яркими пятнами, как на прекрасной картине, выступали желтая листва, затихшие мокрые деревья, поникшая трава, строгие темные скалы, бегущая по камням речка, обнесенная широко разметавшимися ковыльными холмами. Я искал и ждал вальдшнепов, но меня снова отвлекли кряковые селезни, тяжело взлетевшие из-под черного утеса. Один из них стал моей добычей. От выстрела выскочил из-под берега крепко порыжевший русак и споро замаячил вверх по россыпи. Настигнутый выстрелом, скатился вниз по камням и шлепнулся в воду, испортив пушистую шкурку. Цезарь горячо рыскал по берегу. Неожиданно застопорил перед небольшой котловиной у берез. Оттуда мягко вспорхнули два вальдшнепа. Я выстрелил. Птицы, перегоняясь, звонко щелкая крыльями, унеслись за деревья. Цезарь вопрошающе глянул на меня. «Ищи, Цезарь, ищи!» Собака поняла. Умерив свой бег, она осторожно обнюхивала прибрежные лужайки. У трех березок приостановилась, круто перебросила корпус влево. Стойка ее была тиха и сдержанна. Она как бы задумалась над умирающей листвой, не зная, что делать. Вальдшнеп взлетел вверх стремительно быстро. Раскинул широко острые крылья, чтобы выпрямить лет. Именно в этот момент я и ударил его. Птица вскинулась комом, поджав крылья, и так же стремительно, как поднялась, сунулась на землю. Я видел, что вальдшнеп убит наповал, но Цезарь бежал лужайку и не причуял его. Волнуясь, я принялся сам за поиски. Я точно заметил, куда упала птица, и встал на колени, рассматривая листву. Цезарь бегал вокруг меня: вальдшнеп провалился сквозь землю. Прошла мучительная для меня минута. Цезарь, разуверившись, перестал искать. Я готов был плакать и кричал раздраженно: «Цезарь, ищи! Тут ищи!» И вдруг я увидел вальдшнепа. Он лежал на листве оранжевым брюшком вверх, сложив аккуратно лапки. Его трудно было отличить от золотисто-желтой поверхности земли. Большие, темные, еще не угасшие глаза его, посаженные по-особому, смотрели назад – к затылку. Оперение его было волнующе-скромно и красиво. Так убит был мною первый вальдшнеп.

Вальдшнепов по берегам Губорли оказалось много. Они вылетали чаще всего парами из впадин у старых березовых корней. Собака уже не искала их, а уверенно вела меня к деревьям, указывая носом, где именно затаилась птица. Один раз мне удалось увидеть, как вальдшнеп порывисто, скачками, мелькая в траве, бежал на подогнутых ногах по земле. Он вскочил на низкий пенек, вытянулся, оглянулся, тряхнув длинным носом, и снова юркнул в золото взьерошенной листвы. Больше двадцати зарядов рассыпал я по берегам горной речушки. Это было отменное охотничье удовольствие, незабываемое наслаждение: смотреть, как тихо, уверенно подходит к вальдшнепу собака, как она волнуется, слыша его особый запах, и как спархивает, хлопая крыльями, темно-красный живой полумесяц, взмывая над белыми березами. Незаметно отшлепал я километров восемь по Губерле и вдруг увидел, что патронташ пуст. Поднялся быстро холмами на степной сырт.

Осенний день умирал тихо и ласково. Поля еще поблескивали после дождя и стаявшего снега. Неслись к западу клочкастые облака. Солнце прорывалось сквозь них мягким багрянцем. Я был счастлив. Меня теперь неудержимо тянуло к людям. У моего пояса висело шесть

красноватых, большеглазых, длинноносых птиц. На стрепета, зайца, куропатку и крякву я не смотрел. Я то и дело встряхивал на руке плотненьких лесных куликов и ликовал, забыв обо всем на свете. Я спешил к отцу...

Его изумление было больше, чем я ожидал. У него удивленно, радостно засияли глаза, затряслись синеватые, пухлые от старости руки, когда он снимал с моего пояса вальдшнепов. Он без конца расспрашивал меня о подробностях охоты, кричал матери о вальдшнепах веселые слова, вспоминал свои охоты на них:

– Ты подумай, мать, может быть, вот этот носач прилетел с моей родины, из Верхотурья. Может быть, я знал его дедушку или бабушку. Ты подумай! Завтра утром мы едем на Губерлю. Хочу взглянуть на них живых. Обязательно. Патронов больше готовь. Да дробь надо мельче.

– Куда тебе, старик? Сидел бы на печке, – говорила с улыбкой мать, заражаясь нашей радостью.

Отец виновато и счастливо улыбался. В эти минуты я забыл даже о Насте.

Поздно ночью я пошел через кухню в сени провести Цезаря: на обратном пути он наколол на стержнях лапу. В кухне было темно. Я думал, что Настя уже спит. Но она не ложилась. Сидела у окна на лавке, закрыв лицо своими густыми длинными волосами. Я подошел вплотную и заглянул ей в лицо. Оно было серьезно. На глазах девушки впервые я увидел слезы.

– О чем это ты?

Настя беззвучно заплакала, не пытаясь сдерживаться. Выкинув вперед руки, порывисто обняла меня, уронив голову мне на плечо. Были в ее движениях необычные для нее беспомощная покорность, отчаяние и неприкрытое горе. Мы сдержанно ласкали друг друга. Не говорили ничего. Ясно было, что мы друг друга любим, и еще яснее было, что нам надо расстаться. Так мы просидели очень долго. Настя впервые заговорила со мной о себе, рассказала, что она любит меня, что ей очень тяжело уходить домой, что она была счастлива со мною, что она впервые видела к себе негрубое со стороны мужчины отношение и никогда не забудет меня.

– Помнишь, як весною мы с бороньбы ворочались с тобою! – сказала она с радостным отчаянием, улыбаясь сквозь слезы.

Утром я проводил ее за село. Мы молодо, крепко поцеловались. Настя пошла по дороге в гору. Перед изволоком оглянулась, приостановившись. Я смотрел на нее в последний раз. Она грустно и тревожно улыбнулась мне. Глаза ее, серые с просинью, большие, в последний раз задержались на мне. Еле приметно дрогнули тоской и скорбью розоватые губы. Девушка резко повернулась и пошла не оглядываясь. Колыхались под синей юбкой ее сильные, стройные ноги в черных чеботах; статная девичья фигура двигалась прямо. Была она без платка. Когда мы целовались, прощаясь, она сдернула его с головы и теперь несла в руке – он четко алел на фоне осеннего поля, – темные ее волосы, закрученные тугим комом на затылке, были последнее, что я видел. Постояв, я тихо пошел домой. Было мне и грустно и приятно от острой горечи, не покидавшей меня в этот день.

6. Последние годы

Всего не рассказать о Шубине. Больше тысячи охотничьих дней моих прошли возле него. Темные степные звездные ночи, солнечные ковыльные голубые дни, утренние и вечерние закаты цепляются в воспоминаниях друг за друга, и юность снова глядит на меня большими, радостными глазами.

Глухая полночь. Я лежу у степного пруда, завернувшись в пахучую овчинную шубу. Вода тусклым рыбьим глазом смотрит на меня. Со степей пахнет ковылем. Вверху сквозь синюю чадру смотрят живые глаза звезд. Пухлая, ласковая дрема обнимает меня. И вдруг с полей прорывается хрип, посвистывание, оханье: стая больших сибирских кроншнепов, хлопая крыльями, накрывает меня. Шлепаются на воду. Высокие серые тени их качаются над прудом. Я не дышу. Птицы рядом со мной. В пяти шагах. Их хрип страшен: в нем звуки подлинного птичьего разговора, бормотания. Того, что человеку никогда не доводилось слышать в городе. Кроншнепы сейчас одни. Они не знают, что рядом с ними грозное чудище. Усталость, ласка, гнев, хрипение стариков, курлыканье самок, дружеское погогатывание, сонливый шепот ясно слышны мне в их птичьем хоре. Трудно поднять ружье, трудно целить, невыносимо трудно спустить курок. Я не любил стрелять на прудах по ночам, как не любил охотиться на родниках за куропатками.

Осенние желтые стержни. Увядающие поля. Рев скотины, с тоской бредущей по черной озимой пашне. Золотые листья одиноких степных берез. Станицы птиц, улетающих на юг. Я сижу на холмистом склоне у Губерли, спрятавшись за скалу. Брат поскакал на лошади загонять на меня волков: они только что спустились в увалы. Я жду. Издали глуховато доносится выстрел – условный знак: волки пошли на меня. Но как томительно долго стоит надо мною тишина. Нет, видимо, волки обошли стороною и несутся по степи позади меня. И вдруг из-за ковыльной хребтины легким карьером, сторожко оглядываясь, выскакивает матерой, длинномордый зверь. С каким ненавидящим, хищным азартом вскидываю я ружье! Удар дроби по волку отдается во мне радостным эхом. Хищник приседает назад и еще более стремительно порывается к оврагу. Еще удар! Картечь скашивает зверя, он вертится по земле, как заяц. Я ору:

– Убил, есть! Убил! Ура!

Торжество дикаря, животная радость хищника, не омраченная и тенью человеческих чувств, трясет меня. Я махаю ружьем, забыв обо всем на свете. И даже о том, что надо вкинуть в стволы новые патроны. А волк, оправившись, колеблющимися, пьяными шагами уходит за пригорок. Бросаюсь за ним, в угаре заряжаю ружье шестеркой. Снизу из-под увала рев брата:

– Стреляй еще! Еще стреляй!

Я на пригорке. Впереди ковыльный изволок. Волку некуда скрыться. Но его не видно. А это что? Боров, длинномордый, сивый, щетинистый, вытянувшись, лежит на склоне. «Когда это волки успели загрызть его? Но где же, где же мой волк?» Оторопь отчаяния. Наконец в знобющем успокоении узнаю: это не боров, это – павший зверь. Я рядом с ним. Он сипло хрипит, тяжело дышит, вскидывая судорожно бока, и искоса смотрит на меня острым, безнадежным взглядом. Брат, подбежавший ко мне, падает в изнеможении. Лошадь он бросил и кинулся вниз к Губерле, отрезая зверям путь.

Торжественный въезд на хутор. Толпа баб, зло галдящих над трупом хищника. Каждая его пинает, плюет на него. Ночью тризна охотников над «радостным» покойником. Песни.

А первый дудак, убитый мною в день именин отца! Разве уйдут когда-нибудь из моих глаз его падение, потом новый взлет, мое отчаяние, лет птицы над стержнями, как бег

колеса по степи, ее последние взмахи и резкий спуск в траву! Стойка Цезаря над подранком! Выстрел! Цезарь, счастливо облапивший громадную птицу!

В шестнадцатом году, уже взрослым, я приезжал в Шубино на восемь дней из Закавказья. Отцу моему было тогда около шестидесяти лет. Он давно бросил службу. Жестоким склероз лишил его возможности свободно двигаться, но он с моею помощью влез на тарантас, и мы поехали за белыми куропатками и зайцами. Он вспоминал, как я когда-то стрелял здесь весною токовавшего петуха, но уже не смеялся надо мною, потому что я был теперь взрослым, а он стал беспомощным, как ребенок. Последним выстрелом на его глазах я убил белую куропатку, которая и сейчас висит у меня в комнате. Она высоко взметнулась из-под стойки Цезаря и полетела над отцом, стоявшим с лошадьёю на дороге. Упала она под ноги лошади. Это был старый, матерой петух, начавший пятнисто белеть к зиме. Я передал его отцу, который долго вез его в руках.

Вечером, когда мы возвращались домой, я ушел стороною от дороги. Миновал лески и вышел на курган. День золотисто умирал. По полям серебристыми прядями летала легкая паутина. Бабье лето было в разгаре. По степи ровно, без извилин убегала вдаль многоколейная, вековая дорога Канифа, названная так по имени башкирки, разыскивавшей своего пропавшего жениха... Отца на дороге не было видно. Надвигались сумерки, и я недоумевал, куда он девался с лошадьёю. Я начал аукать, думая, что он свернул с дороги и едет по лесам. Ответа не было. Я пошел обратно. На дороге не заметно следов нашего тарантаса. Зашагал быстрее. И наконец нашел отца в степи: оказывается, с задней оси скатилось колесо, отец как-то сумел выбраться из тележки, но приподнять ее и надеть колесо уже не смог.

С тех пор, приезжая в Шубино, я редко брал отца на охоту, эгоистически предпочитая ездить с кем-нибудь из деревенских подростков, а иногда с матерью. Отец усмехался:

– Это ты мстишь мне за Таналык.

Да, когда-то он не брал меня с собой в поле, – теперь я избегал приглашать его с собою. Какими глазами он смотрел на меня, когда я ехал без него на охоту! Как дрожали его синеватые от старости руки, когда он рассматривал птиц, привезенных мною из степи!

Он просиживал целыми днями вне комнат, глядя с жадностью в небо. Особо любил степные, широкие грозы. Как ребенок, прятался от глаз матери в непогоду.

Запомнилось, как мы сидели с ним в саду под старой березой, следили за полыханиями огней по сизым ямам облаков, слушали раскаты грома. Отец, хрипло вздохнув, тихо сказал:

– Если б сызнава повторить жизнь. Еще бы раз...

Весною двадцать четвертого года я вернулся с тяги вальдшнепов в Москву, со станции Каллистово. Я принес к себе на квартиру двух красноватых куликов и вспомнил мою первую охоту на них осенью на Губерле. На столе меня ждало письмо из Шубина: десятого марта умер отец. Мать сообщала, что он за месяц до смерти ездил с красноармейцами в лески за зайцами и простудился, причем едва не потерял на охоте нашу старую ижевскую берданку. Последними его словами были:

– Не дожидаться мне еще раз моих охотников. Не съезжу больше на Таналычку.

В Шубине у меня остались навсегда могила отца и моя юность.

На дудаков

Посвящаю брату Василию Павловичу

1

С половины августа мы начинаем искать дудаков⁵ по широким степям, разостланным ковыльным ковром к северо-востоку от Сакмарских гор.

В безлюдных просторах степей таятся их летние становища. Там, по огрызкам отрогов этих гор, в серебристых ковылях, они выращивают каждое лето новые поколения своего величавого рода. До августа по степям видны лишь табунки самцов, терпеливо вдовствующих до взлета молодежи. Табуны самцов, как и одиночки, затерянные в степных предгорьях, случайны и страшно осторожны. Встречи с ними редко бывают удачны для охотников.

В августе дудаки начинают из степных глубин передвигаться на юго-запад. Путь свой они проделывают медленно, вплоть до ноября, с осторожностью выбирая свои недельные стоянки для жировок по зеленеющим от августовских дождей стержням хлебов, позднее по полям, где выглянут ранние озими.

К концу августа нашей охотничьей компании удалось твердо нащупать полосу их лета и их стоянки. Дудаки в большом количестве показались в пятнадцати верстах от нашей охотничьей резиденции: они паслись большими стадами около хутора Инкули, где не было ни одного охотника из местных жителей.

Волнение, охватившее нашу компанию, заставило даже Сергея, самого юного из нас, взяться с остервенением за чистку своей берданки, чего он раньше никогда не делал:

«Нечищенное ружье крепче дробь держит».

Весть о дудаках опрокинула все его старозаветные принципы. Весь день он возился с ружьем, выкрадывая тряпки из кухни. В порыве экстаза он разбил глиняный горшок, который приспособил для чистки. Вечером, когда мы, священнодействуя, уселись за набивку патронов, он возбужденно вертелся вокруг нас, рассыпая дробь, мешал пыжи и, наконец, решительно потребовал и себе картофельной муки, видя, что я засыпаю ею крупные номера дроби.

— А тебе зачем?

— Да сами-то сыплут! Хитрые!

Его глаза горели отчаяннейшим возбуждением и обидой; он был крепко убежден, что это — таинственное заклинание, избавляющее охотника от позорных промахов. Василий Павлович — наш старшой — был настроен наиболее фаталистически и муки не признавал:

— Ерунда! Интеллигентская выдумка.

Флегматичный Борис оказался соглашателем и сделал себе для опыта патрона три с мукой. Мы проспорили часа два о значении муки для выстрела. Спорили горячо, с ожесточением, словно решали судьбы всемирной революции.

К полночи все было готово для охоты: ружья вычищены, наготовлены патроны, лошадям — Гнедому и Саврасому — дано в изобилии месиво.

Я несколько раз выходил во двор, чтобы взглянуть на небо. Яркая, огненно-розовая вечерняя заря, легкие ползучие белые барашки вокруг месяца и яркие звезды над степью сулили с несомненностью «погоду». Ночное молчание огромных степей громко кричало и

⁵ Казахское название дрофы (доудак), крупнейшей из наших охотничьих птиц. В Оренбургских степях так называют дрофу и все русские охотники.

отзывалось в моей груди тысячью таинственных голосов. Мою грудь раздирало едкое нетерпение: ведь завтрашний день сулил столько бурных охотничьих переживаний.

До последней минуты я волновался, боясь, как бы что неожиданное не расстроило нашей поездки. И только тогда, когда желтые гумна остались за плечами и не лезли назойливо в глаза, я передохнул. Окунувшись спокойно глазом в широту ковыльных ковров, ярко излученных лучами солнца, я начал успокаиваться.

Охота будет.

Сухие овражки, сурчиные желтые насыпи у нор, сырые полосы залежей, межующихся с ковыльными полянками, — и над всем этим огромный взмах светлых далей. Сотни раз и раньше ощупывал глаз каждый кусочек степи; а вот опять все выглядит по-новому — таинственно и зовуще.

Впереди на открытой таратайке ехали Василий Павлович, Сергей и загонщик Иван, апатичный паренек, оживающий лишь на охоте. Мы с Борисом ехали сзади на телеге. Борис молча сосал свою папиросу, изредка поглядывая по сторонам.

— А что, не свернуть ли нам на Бузултуш? Стрепетов поугатать! — крикнул Василий Павлович, когда Иван приостановил Гнедого, чтобы закурить.

И хотя впереди нас ждали дудаки, я согласился. Хотелось испытать ружье, глаз и руки. А кроме того, и здесь — в высокой полыни и клиньях старого ковыля — иногда затаиваются осторожные дудаки. Борис морщился, но чувствовалось, что он колеблется и сам не прочь предварительно пальнуть по стрепетам.

Он повернул Саврасого на полынные залежи, а таратайка поползла по ковыльным полоскам, разбросанным среди хлебных стержней. Жаворонки вылетали из-под колес; иногда они, не поднимаясь высоко, прыгали тут же рядом, словно пернатые лягушки. Сидя с правой стороны телеги, Борис держал в руках вожжи, управляя Савраской, я, спустив ноги на сторону, начал заряжать ружье, выбирая из патронташа подходящие «номера»...

Не успел я разложить свою бескурковку, как ухо мое опалил горячий шепот Бориса:

— Вот они... стреляй!

Три стрепета, вынырнув в десяти шагах от нас из полыни, где они лежали, быстро замелькали стройными шейками среди стеблей ржавой полыни. Стрелять мне было нельзя: стрепета показались с правой стороны. Пока Борис, заткнув вожжи, торопливо выпрастывал из телеги свой «зауэр», стрепета вспорхнули и, сияя белизной подкрыльев, плавно понеслись вдаль. Борис не сдержался и пустил оба заряда им вслед. От выстрелов тут же поднялось еще с десятков птиц. Я поспешил обежать телегу. И хотя стрепета были уже вне выстрела, от досады и волнения я не сдержал пальца на гашетке и бабахнул им вслед. С улыбкой укора взглянули мы друг на друга, держа в руках дымящиеся ружья. Серые глаза Бориса горели от волнения и охотничьей страсти.

А счастье было так возможно...

С досадой швырнул я пустой патрон в ковыль и не успел вынуть из патронташа новый, как опять услышал сбоку тот же волнуемый характерный посвист крыльев. Захлопываю ружье с одним патроном, обертываюсь — два стрепета тянут низом от нас. Прикидываюсь и вожу по воздуху стволами, но руки трясутся, стрепета мельтешат в воздухе, раня глаз своей пепельной пестротой. Момент — кажется, что стрепет на мушке, и я великолепно пуделяю и на этот раз... Невольно бросаю взгляд в сторону таратайки. Она в километре от нас тянется по ковылю, взбираясь на пригорок. Впереди — на вышке бугра — стоит Сергей со своей длинной берданкой, и мне вдруг так ясно кажется, что губы его и глаза насмешливо улыбаются в нашу сторону. Но это, конечно, мираж. На таком расстоянии он не мог ясно видеть наш позор, а я — его лицо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.